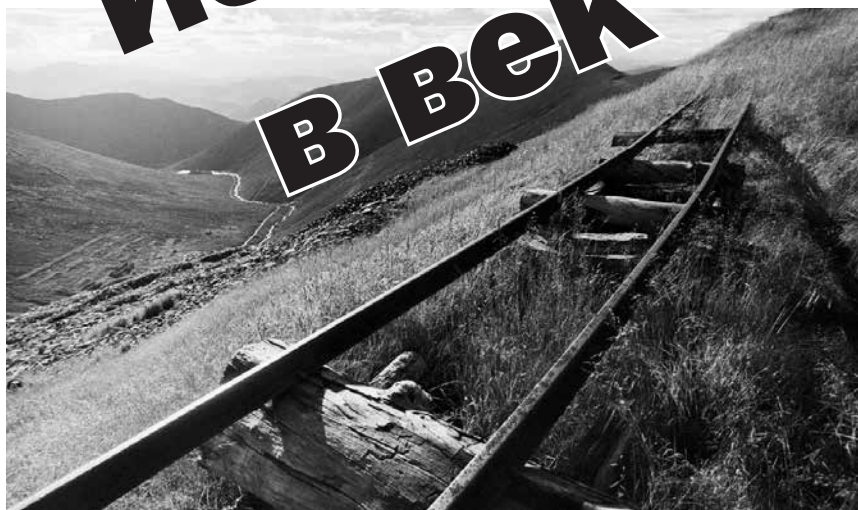


Юрий Пензин

**Из века
в век**



Новокузнецк 2025 г.

УДК - 821,161,1
ББК - 84(2Рос=Рус)6
П14

18 +

Пензин Ю.П.

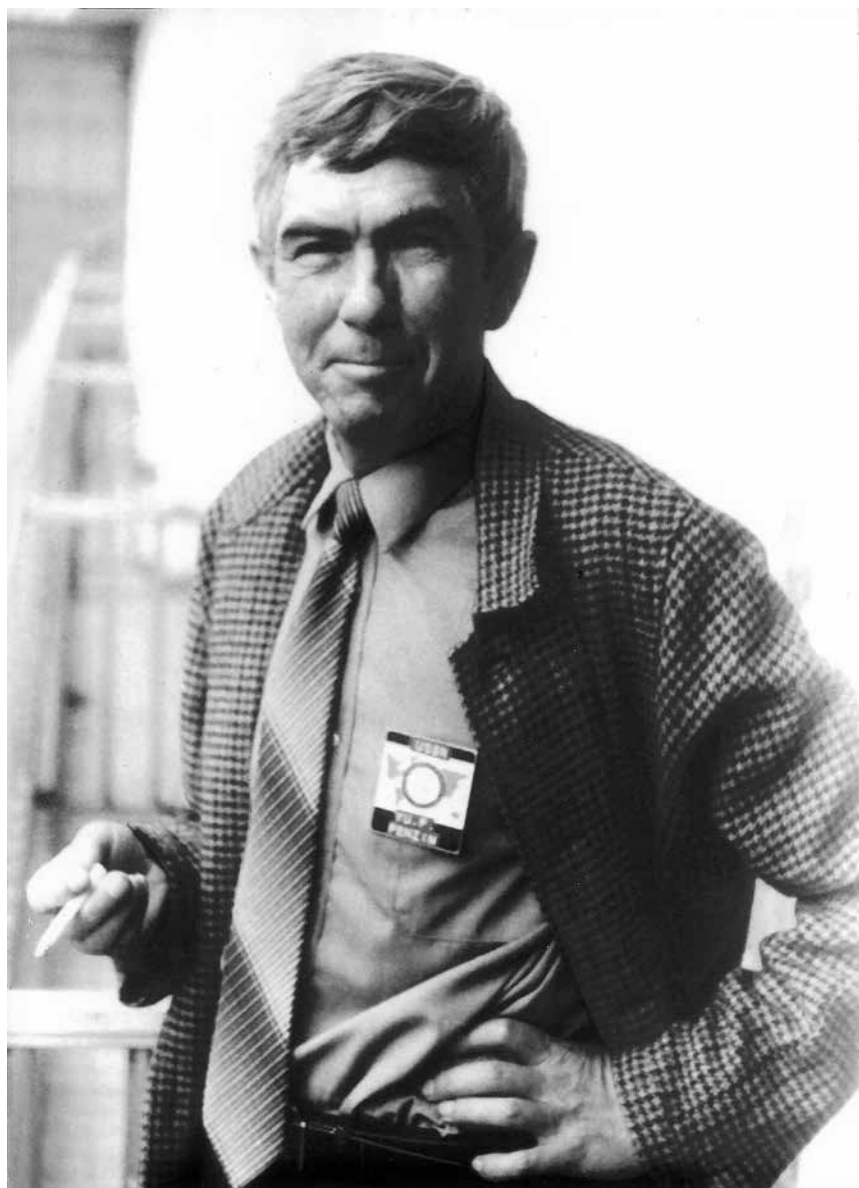
П14 Из века в век: советская классическая проза.

Новокузнецк, 2025 - 208 стр.

Юрий Пензин выступает первооткрывателем описания суровой правды жизни на Колыме. В отличие от произведений северных классиков, в которых Север в той или иной степени романтизировался, здесь мы встречаемся с жесткой реалистической прозой.

Автор не закрывает глаза на неприглядные стороны действительности, на проявления жестокости и алчности, трусости и подлости. Однако, у читателя не остаётся чувства безысходности, поскольку всему злему и низкому всегда противостоят великодушные и самоотверженность.

© Пензин Ю.П.



Если что-то и есть стоящего в моей книге, то оно – в правде о жизни, как я её понимаю, и в том, что говорят и как представляют её будущее простые люди. Истина всегда в них.

Юрий Пензин

Об авторе

Творчество Юрия Пензина пока мало известно читателям. Некоторые его рассказы и даже не повести, а отрывки из них публиковались в газетах, в журнале «День и Ночь», в коллективном сборнике «Снегозор». В 1996 году во Владивостоке вышла брошюра «В чужой колее» с десятком небольших рассказов Пензина. В 2001 году вышла его книга «К Колыме приговорённые» Вот, пожалуй, и всё.

Пензин – кандидат геолого-минералогических наук. Всю трудовую жизнь отдал Колыме. Работал главным геологом Кадыкчанской углеразведки, так что быт колымских посёлков знает не понаслышке. Юрий Петрович – специалист в своём деле: только что опубликована «Угольная база России» по Северо-Востоку в восемьдесят печатных листов, в которой более половины объёма принадлежит Пензину. Это тысяча с лишним страниц машинописи!

Профессиональная занятость Пензина не оставляла времени для литературного творчества, несмотря на тягу к нему и несомненный талант. Лишь выйдя на пенсию, Юрий Петрович взялся за перо.

В его произведениях сразу же в полной мере проявились и богатый жизненный опыт, и талант повествователя. Рассказы и новеллы Пензина о концлагерях сталинской эпохи, пожалуй, не ниже по уровню «Колымских рассказов» Варлама Шаламова. Но не только к этому историческому периоду обращается автор, временные рамки изображаемого им гораздо шире: от начала века (рассказ «На чужой земле») до последнего, «перестроечного» десятилетия, когда стали закрываться и разрушаться колымские посёлки. И тут Юрий Пензин в определённом смысле выступает первооткрывателем: такой Колымы, как у него, в литературе Северо-Востока ещё не было. В отличие от

произведений северных классиков, в которых Север в той или иной степени романтизировался, здесь мы встречаемся с жёсткой реалистической прозой. Автор не закрывает глаза на неприглядные стороны действительности, на проявления жестокости и алчности, трусости и подлости. Однако по прочтении рассказов не остаётся чувства безысходности, поскольку всему злumu и низкому в них всегда противостоят великодушные и самоотверженные. Оттого и возникает не желание сложить от бессилия руки, а активно бороться во имя добра и справедливости.

Несомненно и литературное мастерство Юрия Пензина. Выпуклы, рельефны характеры его героев. Обрисовку их отличает психологическая достоверность и глубина проникновения. У каждого из них своя, яркая, живая речь: то выпеннено-интеллигентская, то простонародная, то с татарским или якутским акцентом. Живописны, зримы портретные характеристики героев. Великолепны, наконец, описания природы, которыми, к сожалению, всё чаще пренебрегают современные авторы. Яркости сравнений, которыми щедро уснащает Юрий Пензин описания, способен позавидовать не только прозаик, но и поэт.

Хочется надеяться, что рассказы Юрия Пензина будут по достоинству оценены читателями и займут достойное, заметное место в литературе Северо-Востока.

Из века в век

Часть I

I

Над Эмтегеем стояла ночь. Сквозной стужей, в голубых сугробах снега и безмолвный, он был похож на всеми покинутую землю, на которую никогда не приходит лето, а на скрытом тяжёлой мглой небе не бывает солнца. Лишь слабо мерцающий свет в окне спрятанной в лесу избышки говорил о том, что здесь кто-то живой. За окном, у жарко натопленной печи, за грубым, сколоченном из тёса столом, сидели двое: боярский сын Иван Решетов и причётник отец Парфён. Они пили спирт и закусывали его жареной олениной.

Иван Решетов был послан на Эмтегей из Якутска для организации доставки сплавом по Колыме в русские поселения продовольствия и товаров, а также сбора ясака с инородцев, в обязанности отца Парфёна входило обращение этих инородцев из басурманской веры в православную. Решетов был полно сложен, крутолоб, на широком, с хитроватым выражением лице, высился большой нос похожий на незрелую грушу, а чёрная в лопату борода, казалась сложенной из конской гривы. На Эмтегее он надеялся сколотить капитал, а по возвращении домой открыть крупное дело.

Отец Парфён отличался от него хилым сложением, узким лицом, тонким, серого цвета носом и козлиной бородкой. У него постоянно слезились глаза, а когда волновался, потел нос. И у него на Эмтегее были свои личные планы. На селе, где в местном приходе он служил дьячком, у него была большая, в семь душ семья, и никакого настоящего хозяйства. Жена, кроме как рожать, ничего не умела, а дети, мал-мала меньше, не слазили с горшка и постоянно просили есть. Но не только поправить свои семейные дела побудило отца Парфёна уехать на Колыму. Его младший брат, Антошка, уже давно ходил в больших начальниках в Петербурге, имел свой дом, своего швейцара,

а когда отец Парфён приехал к нему в гости, он долго держал его в приёмной, а потом принял, не выходя из-за стола. Тогда обиженный отец Парфён на следующий день уехал от брата, а теперь он надеялся, что, вернувшись с Колымы богатым, утрёт ему нос.

Решетов и отец Парфён не только ели и пили, но и вели, как им казалось, умные разговоры. Говорили о войне с турками, о том, что закончиться она обязательной победой русских, потому что у турок нет бастионов, а одними ятаганами русских не возьмёшь. Но эти разговоры Решетову скоро надоедали. Зная, что отец Парфён не понимает шуток, чтобы не было скучно, он начинал его разыгрывать.

– Вот ты, отец Парфён, всё нехристям лбы крестишь, – говорил он, – а братец-то твой, поди, уж и в губернаторах сидит.

– Все под богом ходим, – смиренно отвечал отец Парфён, – а потому и все равны.

– Ну, не скажи! – пряча ухмылку в бороду, возражал ему Решетов. – Ходим под богом, да государю служим, а у него один в чине, а другой в овчине.

– Ах, зачем ты так! – начинал сердиться отец Парфён. – И в писании сказано: «Я всем дарую право вкусить от древа жизни, что в саду божьем».

– Не скажи! – стоял на своём Решетов. – Кому сад божий, а кому и по роже.

– Изыди, нехристь басурманская! – высказывал из-за стола рассерженный отец Парфён, и, перекрестившись, бормотал: «Господи, просвети окаянного, смири ему гордыню!».

Зная, что отец Парфён терпеть не может табаку и считает его зельем поганого аглицкого привозу, уже не пряча ухмылки, Решетов предлагал: «А не закурить ли нам, отец Парфён, табаку?».

Лицо отца Парфёна кривилось в плаксивую гримасу, от волнения у него потел нос и слезились глаза. На возмущение у него уже не хватало слов, и он уходил на свои нары и укрывался шубой с головой. Задув в лампадке свет, уходил на свои нары и Решетов. Через минуту он уже храпел, а отец Парфён

долго не мог уснуть. Не помогал ему и спирт, спрятанный в изголовье. От каждого глотка спирта у него горело во рту, а потом к горлу подкатывала тошнота, но когда это проходило, он забывался в полусне, где не было ни заброшенного на холодную Колыму Эмтегея, не ехидной рожи Решетова, ни пропахшим потом и печной гарью нар.

Он видел себя в родном селе, над ним – голубое небо и яркое солнце, а дома уже никто не сидел на горшке и не просил есть, и жена, ловкая на руку, собирала стол, а за столом подкладывала в его чашку куски пожирнее, и дети, отобедав, говорили ему ласково: «Спасибо, милый тятенька».

Но сны у отца Парфёна были тяжелыми. В них он падал в глубокие пропасти и тонул в болоте, убегал от инородцев, а однажды ему приснился братец Антошка. Во сне этот братец уже не сидел за своим петербургским столом, не имел своего швейцара, а ходил по селу и просил милостыню. Войдя в дом Парфёна и увидев, какой большой мешок соболиных шкурок привез брат из Колымы, он стал просить одну шкурку. На это отец Парфён поднес к его носу дулю и сказал: «Накось, выкуси!»

II

Наконец и над Эмтегеем появилось солнце. Оно было мутным и холодным, а едва поднявшись над горизонтом, и лениво побродив по небу, скоро уходило в закат. Ни промёрзшая за зиму земля, ни застывшая в оцепенении тайга не почувствовали его прихода.

И если бы не появившиеся на Эмтегее вороны, да не сборы Ивана Решетова и отца Парфёна в стойбища инородцев, можно было подумать, что солнце на небе скоро спрячется надолго в закате, и снова будет бесконечная зима с её трескучими морозами и глубокими снегами.

С собой Иван Решетов и отец Парфён взяли из расположенного на Эелике стойбища толмача Гермогена.

«Мой якут, а русски слова карасо знает», – хвалится он, ловко укладывая поклажу на нарты.

Был он молод, среднего для якутов роста, одет в лёгкую кухлянку и короткие торбаса. На круглом, в небольшую сковородку, лице приплюснутый нос и лёгкие морщинки у глаз придавали ему вид весёлого и беззаботного человека.

В путь тронулись с восходом солнца. Впереди на своих резвых оленях ехал Гермоген, за ним Иван Решетов, а сзади – отец Парфён. Гермоген, как и все якуты, всю дорогу пел о том, что вокруг себя видел. Решетов, укутавшись в тулуп, дремал, а отец Парфён, прикладываясь к фляжке со спиртом, видел своё село. Над ним по-прежнему было голубое небо. Река Каме-нушка, в которой он в детстве ловил пескарей, весело играла на перекатах, за ней, широко махая косами, в белых рубахах косили сено косари. Они были похожи на порхающих в траве бабочек-капустниц, а на отдыхе пели красивые песни. А сам отец Парфён с младшенькой Нюшкой шёл по берегу реки, на нём были новые сапоги и вышитая рубаха, а на Нюшке цветастое платье. «Тятенька, – спрашивала она, – тебя почему так долго не было?». Он брал её на руки, крепко прижимал к себе и обещал больше никуда не ездить.

В стойбище добрались вечером. Решетов, стряхнув с себя дремоту, пошёл к его хозяину, а Гермоген стал разбирать нарты и освобождать от них оленей. Через минуту с растерянным видом он вбежал в юрту, где был Решетов, и сообщил: «Отец Парфёна терял».

– Как «терял»? – не понял его Решетов.

– Не знай, я перёд ехал, – ответил Гермоген.

С молодым якутом из стойбища Гермоген бросился на поиски отца Парфёна. Привезли его с обмороженным носом и пьяным. Недалеко от стойбища он вывалился из нарт и, свернувшись в шубе калачиком, уснул.

– Бес попутал, – бормотал он, оттирая нос.

– Ещё раз попутает, не посмотрю, что ты церковного сана, – пригрозил ему Решетов.

На следующий день Решетов приступил к сбору ясака. Давать ясак инородцы не хотели.

– Тойона дай, тебе дай, а кто нам дай? – перевёл их Гермоген.

Тогда Решетов показал им грамоту, полученную в Якутске, и сказал: «У тайона бумаги нет, а у меня есть».

Этого хватило, чтобы инородцы платить ясак согласились. Собрав его, Решетов открыл торговлю. В обмен на меха шли спирт, сеть, ружья, порох и ножи. За спирт инородцы отдавали последнее. Скоро они перепились, многие, свалившись в снег, уснули, а кто стоял на ногах, открывали свои песни и танцы. Не участвовал в этом прибывший из соседнего стойбища якут. Он был крупного сложения, тяжёлый лоб и недобрый взгляд глубоко посаженных глаз выдавали в нём властного человека.

– Тойон, – тихо сообщил Гермоген.

Обращать инородцев в свою веру отец Парфён взялся, когда они протрезвели. Собрав их в одной юрте, он вышел к ним в ризе и с большим крестом на груди.

– Язычники богомерзкие, псы еси смрадные, – начал он свою проповедь, – открываю вам, поганцам, врата в веру православную, ниспосланную господом богом и его сыном Иисусом Христом. Да покарают молонья и гром всякого, кто отринет свои бесовские стопы от врат божьих.

Гермоген, как мог, переводил отца Парфёна, а ничего не понимавшие его инородцы согласно кивали головами. Многовековой опыт кочевой жизни научил их опасаться всего, что непонятно, потому что непонятное всегда может обернуться бедой. Окуная головы инородцев в котёл с освящённой водой, отец Парфён каждому из них давал русское имя и навешивал на грудь по крестику. Новое имя инородцам нравилось. По их вере, оно оберегало от смерти, потому что найти ей человека с новым именем трудно. Но и отец Парфён не был бескорыстен в своём служении богу. За каждый крестик он брал по шкурке.

Объездив другие стойбища, Решетов с отцом Парфёном возвращались на Эмтегей. Чтобы отец Парфён не выпал с нарт и не замёрз, Решетов его упряжку поставил за Гермогеном. И это спасало его от беды. На одном из поворотов, где олени замедлили бег, из густого кустарника раздался выстрел. Полагая, что упряжка Решетова, как и раньше идёт за Гермогеном, стреляли в него, а попали в ногу отца Парфёна. По оставшимся следам

на месте, откуда стреляли, Решетов с Гермогеном определили, что здесь один человек.

– Тойон! – сказал Гермоген, испуганно оглядываясь по сторонам.

Рана отца Парфёна оказалась не опасной. Пройдя через голь, пуля кость не затронула. На Эмтегей приехали вечером. Охая, отец Парфён залез на нары. Полагая, что инородцы – народ всё ещё тёмный и строго осуждать их за покушение на его жизнь поэтому не стоит, он бормотал: «Господи, не вмени им во грех это».

А Решетов, напившись с Гермогеном, грозил в окно: «Я этого косоглазого из гроба достану!»

III

В марте на Эмтегей по Алдано-Оймяконскому тракту прибыл груз с продовольствием и товарами, по договорённости в Якутске, прибыл с ним сын Решетова, Николай.

Похожий на отца, отличался он от него более мягкими чертами лица, не вязался с этим колючий взгляд серых, узко посаженных глаз. Он тоже носил бороду, но была она у него не по-отцовски, в лопату, а, как у яицких казаков, в кружок. Отец надеялся, что когда он в Якутске откроет своё дело, сын будет поставлять ему отсюда пушнину. Появился Николай на Эмтегее со своей собакой по кличке Алдан. С волчьей родословной, она имела высокий загривок, низко опущенную голову и по-злому настороженный взгляд. Понимала она только Николая, к другим относилась враждебно и никого к себе не подпускала.

На Эмтегее Николай быстро сошёлся с Гермогеном. Уже через день они ходили на медведя, а потом ездили в стойбище его отца. Там Николай познакомился с сестрой Гермогена. Звали её Сарданой, было ей не более шестнадцати лет. Небольшого роста, с чёрными, как спелая смородина, глазами и в пушистой из пыжика кухлянке, она была похожа на медвежонка. Вдвоём с ней они ездили на стадо пасущихся в верховье Эелика оленей отца.

Стояла тёплая погода, солнце, очнувшееся от долгой зимней спячки, весело играло на небе, блестел снег, сбросив с себя холодное оцепенение, посветлела тайга, за ней, в ярком белоснежье, высоко уходили в небо горные вершины Верхоянья. Дорогой Николай с Сарданой соревновались, кто кого обгонит на нартах. Плохо справляющийся с оленями Николай к стаду пришёл последним. Сардана над ним смеялась, а потом стала весело забрасывать его снежками. Николай кинулся на неё и свалил в снег. Там, крепко обняв, он поцеловал её в губы. Вечером отец Сарданы, хитро улыбаясь, что-то говорил Гермогену.

– Отец говорит, зенись, девка нисяво, – перевёл Гермоген.

– А что, и женюсь! – весело ответил Николай.

В конце марта по зимнику на Эмтегей прибыли казаки для строительства баркасов и сплава на них по Колыме продовольствия и товаров в русские поселения.

Это было прожжённое бродячей жизнью сборище оборванцев, промышляющих летом колымским сплавом, а зимой – кто охотой, а кто грабежом богатых тойонов. Командовал ими Щербатый, прозванный так за выбитые в драке зубы. Обросший щетиной густых волос, коротконогий и крупно сложенный, он был бы похож на медведя, если бы у него не было длинных, как у обезьяны, рук и большой лысины на голове. Очистив прошлогодние землянки от снега и поселившись в них, казаки потребовали от Решетова спирта.

– Без шпирта работы не будет, – шепелявя, заявил ему Щербатый.

Зная, что со спиртом толку от казаков долго не будет, Решетов ответил: «Спирта не дам».

– Ой, Решет, побойся бога! Шами возьмём! – стал грозить ему Щербатый.

– Спирта не дам! – повторил Решетов.

– Ну, шабака, как знаш! – зло сказал Щербатый и пошёл к землянкам за казаками.

Когда появились казаки, Решетов уже стоял у входа в избушку с ружьём, Николай с Алданом, а отец Парфён с большим крестом на груди.

– Бей их, братаны! Бей! – раздались угрожающие крики из толпы.

– Не-е, заходи сзади! – не соглашались другие. – Жги иродов!

А Щербатый, выйдя вперед, крикнул: «Не дашь шпирту, за ноги повешим».

Решетов взвёл курок ружья, но его остановил отец Парфён.

– погоди, – сказал он, – обратимся к господу богу.

И, сняв крест с груди, вышел к толпе. Подойдя к Щербатому, он сунул крест ему в лицо и сказал: «Не бесовствуй и кайся, пёс поганый. Целуй крест!»

– Пшёл ш дороги! – крикнул ему Щербатый и плюнул на крест.

И тогда отец Парфён, широко размахнувшись, ударил этим крестом по лысой голове Щербатому.

– Ты што?! – растерялся Щербатый.

– Да не оскудеет рука господня, – ответил ему отец Парфён.

Не ожидая от священнослужителя такой выходки, толпа рассмеялась.

– Ну, отец! Ну, даёт! – весело кричали из неё.

– Ах, так! – рванул на себе полушубок Щербатый и бросился с ножом, но не на отца Парфёна, как все ожидали, а на Решетова.

Выстрелить Решетов не успел, спущенный Николаем с привязи Алдан одним прыжком настиг Щербатого и порвал ему горло. Корчась и захлёбываясь в крови, Щербатый скоро отдал богу душу, а напуганная этим толпа молча разошлась по землянкам. Понимая, что без Щербатого казаки справиться не смогут, Решетов решил взять это дело на себя. Долго сдерживала сплав как никогда вышедшая из берегов Колыма. Она смывала нетронутые много лет берега, несла вывороченные с корнем деревья, играла крутой волной на стрежне.

– Ой, не ходи плав! – предупреждал Решетова Гермоген. – Погибай не нада, жить нада.

Решетов его не послушал, а прибывшие в следующем году из Алдана на Эмтегей с продовольствием и товарами казаки

сообщили, что и он, и его спутники погибли на Больших Колымских порогах.

IV

Отец Парфён отслужил по погибшему Решетову молебен, а Николай по нему справил поминки. На поминках, кроме отца Парфёна, были Гермоген и Сардана. Выпив и закусив, отец Парфён сказал: «Вы молодые, поминайте, а мне, старику, пора и на покой».

На нарах, как и раньше, онпил спрятанный в изголовье спирт, но села своего под солнечным небом с ловкой на руку женой и ухоженными детьми уже не видел. Перед ним стоял Решетов с бородой в лопату, но не было на его лице ехидной улыбки, не укорял он его богатым братцем и не курил табак аглицкого привозу. Отцу Парфёну даже показалось, что Решетов, подойдя к его нарам, со страданием посмотрел на него и сказал: «Все уходят в могилу, да не каждому это дано сделать по старости».

Отец Парфён решил, что говорит Решетов это ему, чтобы уезжал он с Эмтегея, иначе и его здесь ждёт гибель. Из сострадания к нему и жалости к себе отец Парфён заплакал. После слёз ему стало легче, но мысли о том, что же с ним будет дальше, из головы не выходили. Погибнет ли он здесь, на Эмтегее, или вернется домой богатым – кто теперь знает. Всё в руках божьих.

И вспомнил отец Парфён, как много лет назад архиерей Александр, к которому он шёл в город с прошением о повышении в сане, но оказался на его предсмертной исповеди, сказал: «Каюсь, смерти боялся, а теперь вижу: и смерть – благодать божья». На обратной дороге отца Парфёна прихватил дождь и холодный ветер. Скоро он промок насквозь, в сапогах хлюпало, мёрзли лицо и руки, мокрая ряса путалась в ногах, и казалось, что дороги конца не будет. «Хорошо тебе говорить, – зло думал он об архиерее, – что смерть – благодать божья. Прожил-то, поди, в масле катался, ни голода не знал, ни холода, а ты вот поживи с наше, посиди на тюре, поноси обноски, так другое

скажешь. Нет, бедному человеку смерть – она не благодать божья, а наказание, потому что он, можно сказать, и не жил, а только мучился».

Утром, когда отец Парфён проснулся, он услышал разговор за столом Николая с Гермогеном.

– Река вскрылся, – говорил Гермоген, – а колымски казак нет, кто сплав делай будет?

– И не надо, – отвечал ему Николай.

– А товар делай куда будем? – спрашивал Гермоген.

– Товар за мной не пропадёт, – твёрдо заявил ему Николай и приказал: – Зови братьев!

Братьев Елагиных было двое: старший Степан и младший Савелий. Состояли они в команде, доставившей на Эмтегей продовольствие и товары с Алдана. Остались на Эмтегее: Савелий по внезапно прихватившей его болезни, а Степан, потому, что не хотел оставлять здесь одного брата. У крупного, с кулаками в кувалду, Степана были по-коровьи большие глаза и похожий на луковицу нос, всё остальное на лице скрывалось густой бородой с нависшей с головы на лоб шапкой седых волос. Узкоплечий, с впалой грудью, Савелий был без бороды, с такими же, как у брата, коровьими глазами, которые никак не вязались с его узким серого цвета лицом. Жили братья в недалеко расположенной избушке.

– Та-ак, и что вы у меня думаете делать? – встретил их Николай.

– Что прикажешь, – густым, словно из трубы басом, ответил Степан.

– Плотничать умеете? – спросил Николай.

– Жрать захочешь, всё сумеешь, – сказал Степан и уставился на заставленный закусками стол.

– Понял, – рассмеялся Николай и посадил братьев за стол.

Степан ел не торопясь, широко разевая рот и чавкая, а Савелий, в отличие от него, ел с торопливостью и жадностью, словно боялся, что его сейчас погонят из-за стола. Когда Николай предложил им выпить, они отказались.

– Мы староверы, нам нельзя, – объяснил Степан.

Когда они наелись, Николай сказал: «Ну что, братья, теперь к делу. Мне надо срубить дом, да такой, чтоб, глядя на него, шапка с головы валилась. И окна чтоб были с разными наличниками, и крыльцо – упади, шею сломаешь. Плата – ешь не хочу и одежонка не с чужого плеча.

Братья рубить дом согласились.

– Ну, тогда с утра и за работу, – сказал им Николай.

Когда братья ушли, Герморген спросил: «Зачем тебе большая дом? Кто жить будет?»

– Эх, Гермоген, Гермоген, ничего-то ты не понимаешь, – рассмеялся, потирая руки, Николай. – Да я с тем, что теперь имею, такое дело тут открою!

– Зачем открывай? – не понял его Гермоген. – Товар Алдана не твой, ругать будут.

– Кто это ругать меня будет? – поднялся из-за стола Николай. – Некому меня здесь ругать, я всему хозяин.

«Борзо, ой, борзо взял!» – подумал на нарах отец Парфён, и у него сжалось сердце. И на самом деле, что-то теперь с ним будет? Николай, это сразу видно, не старший Решетов, и голову снимет, так ничего и не спросив. А на следующий день, уже с утра, в низовьях Эмтегея застучали топоры. Это братья Елагины начали заготовку леса на дом Николая. Работали они с раннего утра и до позднего вечера, а когда на Эмтегей пришли белые ночи, они прихватывали и их. У Степана работа шла споро. Он медведем валил крупные, чуть не в обхват листовницы, очистив от сучьев и ошкурив, в одиночку переносил их в штабеля, топор в его руках казался игрушкой. Большой Савелий ему только мешал. Он путался у него под ногами, топор валился из его рук, а обессилив, падал в изнеможении и задыхался в кашле. В груди у него хрипело, казалось, ещё немного, и там что-то оборвётся, а в горле, казалось, кто-то всхлипывал.

– Братка, – сквозь слёзы говорил он, – за что я и тебя погубил? Не видать и тебе нашего родимого дома.

И просил у него за это прощения.

Степан понимал, что Савелий уже не жилец на этом свете, но делал вид, что это не так.

– Поешь-ка бруснички, оно и полегчает, – бодро говорил он. Работали на строительстве дома и якуты из соседних стойбищ, эвенос Николай не брал, считал, что от них толку мало. Не сидели без дела и отец Парфён с Сарданой. Прикинув, что завезённого с Алдана спирта надолго не хватит, Николай определил отца Парфёна в устроенную в одной из землянок винокурню.

– Хватит нехристям лбы крестить, надо и дело делать, – сказал он ему.

Сардана готовила обеды работникам. Она уже была от Николая брюхата, и теперь была похожа на бочонок, которому снизу прицепили короткие ножки. Гермоген, как толмач, не отходил от Николая.

Не сидел без дела и сам Николай. Его можно было увидеть и на лесозаготовке, где он выбирал нужные деляны, а когда надо, кулакам и расправлялся с нерадивыми в работе якутами, появлялся он и на строительстве, за ним, словно на привязи, ходил Алдан. Якуты больше боялись не Николая, а Алдана. Однажды, когда стоящий перед Николаем якут поднял руку, чтобы отогнать от лица комаров, Алдан в одном прыжке вцепился в неё. Алдана от руки оторвали, а якута, как непригодного к работе с покалеченной рукой, отправили в стойбище. Не бросался Алдан только на Степана. Видимо, собаку пугало его волосатое лицо.

К концу лета дом был готов. Состоял он из двух этажей: верхний – для хозяина, нижний – для приезжих и хранения домашней утвари. Были построены и новые амбары. На подворье была возведена вышка с колоколом. Били в колокол побудку, при пожаре, да по большим церковным праздникам. Когда звонил колокол, тайга, казалось, сбрасывала с себя сонное оцепенение, трубили не по сезону лоси, в испуге бежали в распадки олени, бурундуки прятались по норам, а братья Елагины, закрывшись в своей избушке, клали поклоны в двоеперстии, зывали к протопопу Аввакуму и пророчили воцарение в мире антихриста.

Пришла осень. Была она поздней и холодной. Шли дожди со снегом, на Эмтегее, словно опущенном в яму, уже давно не было ни солнца, ни светлого неба. Николай злился, он ждал твёрдого наста. По нему инородцы должны были прибывать к нему за товаром. Злость он срывал на Сардане, которая, казалось ему, долго не рожает, на отце Парфёне, который много молится и даже непонятно, за что, на Гермогене. Сардана, которая боялась Николая как огня, пряталась от него в нижнем приходе, отец Парфён уходил в винокурню, а Гермоген уезжал к отцу на Элик. Оставшись один, Николай ещё больше злился.

На Воздвижение ударили морозы. По случаю этого праздника отец Парфён звонил в колокол. Делал он это с тем вдохновением, какой приходит людям во время вознесения их в молитве к богу, а вечером он опять видел себя в родном селе. Там тоже было Воздвижение, звонили колокола, нарядные прихожане шли в церковь, после неё, очищенные от грехов и земных забот, они шли домой, где готовили праздничные застолья. А вечером за селом молодые водили хороводы. Они пели:

«В кругу молодец гуляет,
 Себе пару выбирает:
 Лизавету – по совету,
 А Настасью – по согласью».

– Отец Парфён, айда к нам! – весело звали они его из своего хоровода. Отец Парфён и рад бы пойти к ним, да не позволял ему это делать его церковный сан.

Как и раньше, когда звонил колокол, и сейчас, на Воздвижение, братья Елагины клали поклоны в двоеперстии, зывали к протопопу Аввакуму и пророчили воцарение в мире антихриста. На следующий день, после Воздвижения, отец Парфён решил сходить к ним и провести с ними беседу, полагая, что в ней они обретут истинную веру. Братья сидели за столом и ели похлёбку из оленины.

– Хлеб да соль, – приветствовал их отец Парфён.

Братья не ответили, а Савелий словно испугался, что отец Парфён сядет с ними за стол, стал торопливо всё убирать.

– Чего надо? – грубо встретил отца Парфёна Степан.

– Не поговорить ли нам, братья во Христе? Живем рядом, а в отчуждении, – ответил отец Парфён.

– Не о чем нам с тобой говорить, – сказал Степан и, видимо, чтобы не осквернить Савелия присутствием в их землянке антихриста, послал его за дровами. Когда Савелий вышел, Степан сказал: «Не тебе, Парфён, учить нас вере. Благочестие наше древнее вашего, и истинный бог с нами, а с вами антихрист. С богопротивным Никоном вы предали нас анафеме, а с богоугодным Аввакумом мы взываем к небесному вам возмездию. Вы в мерзком троеперстии поклоняетесь деревянным идолам, в вас чревоугодие, пьянство и блуд, мы несём людям светлую веру во Христа, истинное очищение от грехов и ради этого готовы идти на отрешение от всего земного и, как отцы наши, на самоожжение.

Отец Парфён не ожидал, что Степан так истинно и глубоко осознанно верит в своего бога, ему казалось, что пришёл этот бог к нему или по невежеству, или по тупому наследству от родителей. Обескураженный этим, отец Парфён решил беседы не продолжать, а Степан, провожая его, сказал: «И брось, Парфён, за крестики с инородцев брать шкурки. Побойся хоть своего бога, ведь и он не простит тебе этого».

На следующий день после Воздвижения умер Савелий. Умирал он тяжело. В бреду звал брата, а очнувшись, метался по нарам, стонал, и всё просил: «Братка, прости. Братка, прости».

Копая могилу, Степан никого к себе не подпускал.

– Уходи! – зло закричал он на пытавшегося подойти к нему Гермогена.

– Зачем ходи? – не понял его Гермоген. – Я хорошо ходи.

Вечером, закопав брата в могилу, Степан ушёл в свою избушку и в ней закрылся, а отец Парфён решил у себя отслужить молебен по Савелию. Ему казалось, что хоть Савелий и старой веры, но бог и его примет, если этого бога хорошо попросить. После молебна, как положено по обряду, отец Парфён ударил в колокол. Звон колокола оторвал Степана от молитвы, в которой он просил своего бога покарать антихриста за смерть

брата Савелия, а ему дать силы на отрешение от жизни. «Уж не по Савелию ли звонит Парфён?» – ударило ему в голову. Уже на улице он встретил Гермогена.

– Да, отес Парфёна Савелка отпевает, – сообщил ему Гермоген.

Вернувшись в избушку, Степан закрылся, ещё раз вознёс к богу молитву, затем разбросал по полу из печи горящие уголья и привязал себя к нарам. Скоро над избушкой в небо взметнулся высокий столб пламени, по-волчьи завыл Алдан, а над тайгой всё ещё стоял колокольный звон отца Парфёна.

VI

Разродилась Сардана в конце октября. Узнав, что родила она девочку, Николай не захотел её и смотреть.

– Мне не девка нужна, а наследник, – сказал он.

Отец Парфён при крещении нарёк её Анной.

Наконец стали наезжать инородцы за товаром. Это были в основном якуты, эвенов было всего три семьи. Николай заломил цены в два раза выше отцовских. За один кулёк белой муки он запросил два песца, за медный котелок – две лисицы-огнёвки и четыре оленьих шкуры, за ружьё – двадцать оленьих шкур.

– Зачем обман? – не понял его Гермоген. – Обман худо.

– Не твоё дело! – зло ответил Николай.

После того, как Сардана родила ему девочку, к Гермогену он стал относиться с такой злостью, словно её брат виноват в этом.

– Обман худо, – повторял за Гермогеном и инородцы, а Николая называли куахан кии¹.

После двух дней противостояния Николая с инородцами ночью сгорела ближайшая к его дому юрта. Сгорел в ней и её хозяин, старый якут.

Утром, собрав на своем подворье инородцев, Николай приказал Гермогену: «Переведи им. За то, что они не берут мой товар, на них рассердился русский бог. Сегодня он сжёт одну юрту, завтра сожжёт другую, а если дальше не будут брать мой товар, он сожжёт всё их стойбище».

¹ Плохой человек (якут.)

Напуганные русским богом инородцы пошли за товаром. А вечером Гермоген жаловался отцу Парфёну: «Зачем русски бог злой? Зачем бедны люди обижай?»

– Русский бог добрый, – отвечал ему отец Парфён. – Он бедных людей не обижает. Он и сына своего, Иисуса Христа, послал на землю, чтобы сказать это.

– А где сисяс Исуса Христа? – спрашивал Гермоген.

– На небо вознёсся, – отец Парфён перекрестился.

– Зачем небо бегал? – не понимал его Гермоген. – Земле козьяин нада.

Поверив отцу Парфёну, что русский бог юрту не сжигал, он спрашивал: «Козьяин юрта не жёг, ты юрта не жёг, я юрта не жёг, кто жёг?».

– Да покарает его рука господня, – не отвечал на вопрос Гермогена отец Парфён.

А Николай, очень довольный первым днём торговли, сидел за столом со старым якутом, он пил спирт и уговаривал его оставить на Эмтегее свою дочь. Якут немного знал русский язык, а Николай уже кое-что из якутского, поэтому они друг друга понимали. Звали дочь якута, как это было записано в поимённой книге отца Парфёна, Машей. Николай надеялся, что она родит ему сына.

– Даю за неё ружьё, – говорил Николай якуту.

– Засем ружьё? Так бери, – не понимал его якут.

Николай разговором остался доволен и решил завтра же забрать Машу.

– Девка нисяво, – говорил ему якут, уходя от него без ружья.

На следующий день, когда отец Парфён стал выговаривать Николаю за то, что при живой Сардане он решил привести в дом ещё и Машу, Николай зло ответил: «Не твоё дело!».

С приходом в дом Маши в нём всё изменилось. Сардану Николай выселил в нижний приход и вызывал её оттуда только по пьяному куражу. Делая вид, что приготовленная ею еда невкусна, сбрасывал её со стола, а перед сном заставлял чесать ему пятки.

Узнав это, Гермоген решил Николаю убить. В один из разъез-

дов по стойбищам, когда Алдан, погнавшись за куропатками, оставил Николая одного, Гермоген бросился на него с ножом. Завязалась схватка, в которой Николай сумел выбить нож из рук Гермогена. После этого Гермоген, забрав с собой Сардану и её дочь Анну, уехал к отцу на Эелик. В доме остались Николай, Маша, отец Парфён и Алдан.

VII

Шли годы. Далеко на западе уже давно отгремела русско-турецкая война, выведены из России войска Наполеона, отменена продажа крестьян с публичного торга, построена железная дорога между Москвой и Петербургом, а на Эмтегее всё оставалось, как и много лет назад. По-прежнему он тонул в глубоких сугробах снега, замерзал на ледяном ветру, а летом в непогоду погружался в непроницаемую от дождя завесу. Сказались эти годы только на его обитателях.

Николай обрюзг, он, кажется, даже осел в росте, носил уже длинную, как у сибирских кержаков, бороду. Образ жизни его мало отличался от образа жизни инородцев. Он редко умывался, часто, не раздеваясь, спал в кухлянке, ел полусырую оленину. Пил он много, но ума и практической хватки не пропивал. Амбары его ломились от песцовых и беличьих шкур, а счёт оленьего поголовья он уже потерял.

Маша родила ему сына, которого он назвал Антоном. Сыну уже было двенадцать лет.

Отец Парфён уже часто болел. Его мучила одышка, плохо слушались ноги, а по ночам прихватывало сердце. В свободное от винокурни время он занимался Антоном, обучая его арифметике и грамоте.

Заметно изменилась и Маша. Из красивого подростка в начале замужества теперь она превратилась в старуху со сморщенным, как у обезьяны, лицом. Она мало с кем разговаривала, а у Николая, как когда-то Сардана, ходила в прислугах.

Алдан уже не ходил за Николаем, у него стали сдавать задние ноги, от того, что было в нём раньше, остался злобно настороженный взгляд.

Занятия отца Парфёна с Антоном проходили в нижнем приходе. Маша им готовила ужин и поила чаем.

– А мне бы что-нибудь покрепче, – просил её отец Парфён.

Выпив настойки, он говорил Антону: «Ну что, дитя моё, пойдём дальше».

И брался с ним за арифметику. Шла она у Антона плохо. Не давалось ему умножение. Он не понимал, зачем в тайге умножение, когда в ней всё делается сложением. Слушая отца Парфёна, он думал, что несёт он своё умножение, потому что уже много выпил. Иногда отец Парфён рассказывал ему о сотворении мира. Слушая о том, что бог сотворил небо и землю, свет и тьму, а перед тем, как сотворить человека, он в пищу ему вырастил зелень и пустил на землю много всяких животных, Антону казалось, что бог – это очень добрый человек, который сидит на небе и делает людям только хорошее.

Не понимал Антон этого бога, когда он за прегрешения людей решил истребить всё, что создал раньше, а отец Парфён, переходя к этому, брался за библию. «И сказал господь, – читал он, – истреблю с лица земли человеков, которых я сотворил, от человека до скотов, и гадов и птиц небесных истреблю: ибо я раскаялся, что создал их».

– А птиц-то за что? – не понимал Антон. – Они же не грешили.

Отец Парфён терялся. И на самом деле, их-то за что? Чтобы не остаться без ответа, он говорил: «И немудрое божие премудрее человеков».

Занятия отца Парфёна с Антоном Николаю не нравились.

– Ты мне из Антона дурака не делай. Мне наследник нужен, а не церковный причётник, – сердито выговаривал он ему.

Отец Парфён молчал. Он видел, что из Антона наследника не получится. Дела отца его не интересовали, торговли с инородцами он не понимал, оленей он любил и жалел за тихий нрав и покорность, и когда их забивали в корале, уходил в тайгу. Он тайно ненавидел отца за жадность, грубое отношение к инородцам и пьянство, а мать не любил за то, что она с ним живёт.

В один из зимних вечеров к Николаю приехал с Оймякона якут и сообщил о том, что в Оймякон из Якутска прибыл отряд казаков и скоро будет здесь. «Всё отнимут!» – ударило в голову Николаю. И не только отнимут, понял он, но и снимут ему голову за присвоение алданских товаров. Ночь Николай не спал, а утром решил бежать в тундру на Улахан-Чистай. Туда, надеялся он, казаки не доберутся. Уложив меха в оленьи упряжки, он приказал Антону: «Собирайся».

– Я, тятенька, с тобой не поеду, – заявил Антон.

Николай бросился на него с кулаками, но его остановил отец Парфён.

– Ты, Николай, поезжай один, а наладишь на Улахан-Чистае жизнь, и Антон к тебе приедет, – сказал он.

– Не приедет, и тебе голову оторву! – пригрозил Николай отцу Парфёну, и, забрав с собой Машу и Алдана, уехал.

Узнав это, вернулись на Эмтегей Гермоген и его сестра Сардана с дочерью Анной. Анне уже было семнадцать лет.

Через неделю прибыли казаки. Они везли с собой товары для обмена у инородцев на пушнину. Командовал ими стройно сложенный молодой казак с закрученными вверх усами и длинной саблей на боку. Сразу было видно, что это очень весёлый и жизнерадостный человек. Столкнувшись с Анной в нижнем приходе, он ущипнул её за бок, а когда она шлёпнула его по руке, он весело рассмеялся и сказал: «Ну, держись, красавушка, завтра на тебе женюсь».

Звали его Гришей.

А Анна и на самом деле была, как сказал Гриша, красавушкой. У матери она взяла чёрные глаза, длинные, вздёрнутые вверх ресницы и смуглый цвет кожи, а у отца – стройное сложение и по-европейски прямой нос. Вскоре Гриша с Анной стали встречаться в винокурне отца Парфёна. Там было тепло, в печи потрескивали дрова, казалось, в ней кто-то прячется, запах голубичной настойки кружил голову. Но привыкшему к большим таёжным просторам Грише в винокурне было тесно. Он выходил из неё, брал с собой Анну и играл с ней в снежки, а потом показывал, как надо владеть саблей. В его руках она со

свистом резала воздух, под корень рубила молодые лиственницы.

Молодость и красота взяли своё: Гриша с Анной решили пожениться. Не понял Гришу его помощник, старый казак по прозвищу Борода.

– Зачем это? – спросил он. – Скоро домой, а она и до Алдана с тобой не дойдёт.

– Ничего, она девка крепкая, дойдёт, – ответил Гриша.

VIII

Николая Решетова на Улахан-Чистае Гриша решил взять живым или мёртвым. Он стал готовить к этому свой отряд. Запасал продукты на далёкую дорогу в тундре, менял слабых оленей на крепких, битые нарты – на новые.

А Николай в это время сидел в своей юрте и думал, что делать дальше. Да, у него много пушнины, большие стада оленей, но кому это надо. Дорога на Алдан и Якутск ему заказана, а Антон, понимал он, сюда уже не приедет. Зачем Антону отцовские и пушнина, и олени, если и они никогда не найдут сбыта. Да и что скрывать, видел Николай, что сын не его склада, нет у него ни деловитой хватки, ни практического ума. И казалось теперь Николаю, что жизнь он прожил не так, как надо. Зачем брал грех на душу в присвоении алданских товаров, зачем обманывал инородцев и жёг их юрты, если не ел в два горла, не ходил в богатых шубах. Жена Маша, которая теперь пыталась угодить ему во всём, его только раздражала. Злило её покорное поведение, чай, который она подавала, казался горьким, а в оленине много шерсти.

– Иди вон! – гнал он её в угол юрты.

Ночью Николая мучили тяжёлые сновидения. Часто снился якут, которого вынесли из подождённой им юрты. Он корчился в болях, а уже неживой, казалось, ему подмигивал. Отец Парфён постоянно звонил в колокол. Звонил он, потому что горела тайга, и огонь был рядом с домом. От страха за него Николай просыпался и выскакивал из юрты. Кругом стояла безмолвная тундра, под большой холодной луной она казалась ледяной пу-

стыней, в которой никогда не было жизни. Окружив юрту, казаки предложили Николаю сдаться. Николай отказался. Он знал, что если сдастся, его увезут в Якутск, а там повесят.

Окружившие юрту казаки понимали, что взять в ней Николая будет трудно. Стояла она на высокой горе за каменным утёсом, а подходы к ней ничем не прикрывались. Вкапываясь в снег, казаки стали сужать кольцо окружения.

– Не бойся, ребята! – подбадривал их Гриша. – Не таких брали!

Видя, что казаки совсем близко, Николай спустил на них Алдана. С волчьей яростью он бросился на первого окопавшегося в снегу казака. Им оказался Борода. Попытка пристрелить Алдана Бороде не удалась, ружьё дало осечку. В схватке с ним Борода успел вытащить из-за пояса нож.

Гриша, понимая, что Бороде сейчас уже ничем не поможешь, выхватил из ножен саблю и с криком: «За мной!» бросился на юрту. Первый же выстрел Николая сразил его насмерть. Ворвавшиеся в юрту казаки порубили Николая тесаками. Борода остался жив. Нож он успел всадить Алдану в сердце.

Похоронили Гришу рядом с братом Степана, Савелием. Отпевал его отец Парфён, а могилу копали Гермоген с казаками. Когда опускали в неё гроб, звонили в колокол. Анна плакала, уже обессиленную, её отвели домой и уложили в постель. Поминали Гришу настойкой и пирогами с брусникой.

– Какого казака потеряли! – тяжело вздыхая, говорил Борода.

Взяв команду отрядом на себя, теперь он не знал, что делать с оленьими стадами Николая. Не гнать же их на Алдан.

– Меняй шкурка, – посоветовал ему Гермоген. – Якут олень нада.

И за оленей, и за свой товар Борода цен не ломил. Иностранцы им были очень довольны и говорили о нём: «Учугей кии²». Они понимали, какие цены ломил Николай, и как он страшал их русским богом, когда брать его товар отказывались.

– Русски бог каросы бог, – говорили они и шли к отцу Парфёну, просили его: «Моли меня».

² Хороший человек (якут.)

Отец Парфён, как и раньше, кунал головы инородцев в котёл с освящённой водой, но за крестики шуток не брал.

Закончив свои дела, казаки стали готовиться к возвращению на Алдан. Когда у них к отъезду было всё готово, отец Парфён отслужил молебен. Скоро они скрылись в тайге, но звон колокольчика на головном олене был долго слышен.

Остался на Эмтегее из отряда казаков ссыльный Котельников. Сослан он был на Оймякон за участие в вооружённом выступлении политических заключённых в Якутске. У него было университетское образование и на Эмтегее он остался для изучения быта и нравов местного населения.

IX

В жизни на Эмтегее после Николая наступили покой и тишина. Никто не злобствовал, не было в доме ни крика, ни пьяного буйства, все жили одной большой и дружной семьей. Сардана готовила обеды и ужины, отец Парфён, когда не болел, занимался по хозяйству, Котельников, собирая материал по быту и нравам местного населения, разъезжал с Гермогеном по стойбищам, Антон засиживался над книгами, что привёз с собой Котельников, а Анна ждала ребёнка от Гриши.

Несмотря на хилое сложение и болезненный вид, разъезды по стойбищам Котельников переносил легко. Одно мешало ему – плохое зрение. Очки на морозе покрывались инеем, и тогда он ничего не видел, а когда снимал очки, видел только то, что далеко расположено. Глядя, как Котельников легко справляется с оленями, сутками может не сходить с нарт и спать на снегу, Гермоген говорил: «Кудой, а, как якут, шибко крепкий».

Не понимал Гермоген, что и зачем Котельников на стойбищах записывает в свою тетрадку.

– Засем бумага, пуснина нада, – говорил он.

Не понимали его и инородцы и сначала даже боялись. Старые из них помнили, как Иван Решетов, чтобы взять с них ясак, грозил им бумагой.

– Котельник махталах кии³, – успокаивал их Гермоген.

³ Добрый человек (якут.)

В сильные морозы, когда Котельников не был в разъездах, с отцом Парфёном они засиживались в беседах до поздних вечеров. Разговоры шли и на религиозные, и на светские темы. Котельников, когда не соглашался с отцом Парфёном, мягко ему улыбался и говорил: «А ведь вы, отец Парфён, не правы», а отец Парфён, когда не соглашался с ним, сердился, и, как в спорах с Иваном Решетовым, у него потел нос и слезились глаза.

В бога Котельников не верил, потому что в писании о нём находил много противоречий.

– Растолкуйте мне, отец Парфён, – начинал он разговор, – в писании сказано: «Начало мудрости – страх господень, блажен муж, боящийся господа, и там же: возлюби господа, вознеси его в любви своей». Разве можно полюбить то, чего надо бояться?

– Не возлюбишь, не убоишься, ибо где нет любви, там нет и страха потерять всё, – отвечал отец Парфён.

– Поставим вопрос по-другому, – продолжал Котельников, – Иисус Христос говорил: «Любите врагов своих, ударившему тебя по одной щеке подставь другую», однако это не мешает его последователям благословлять воинов на битвы с врагами одной Христовой с ним веры, как это было, например, в русско-шведской войне.

– Шведы – иноземцы, и нечего им поганить русскую землю, – начинал сердиться отец Парфён.

А когда Котельников задавал ему вопрос, почему бог винит людей за их грехи, если сам он управляет ими, и говорит, что без его ведома не упадет и волос с головы человека, отец Парфён сердито бросал: «Не горшку спрашивать у горшечника, почему он его таким сделал».

Больше общего находили отец Парфён с Котельниковым в разговорах на светские темы, однако когда Котельников пытался убедить отца Парфёна в том, что царское самодержавие – это ярмо для народа, он с ним не соглашался.

– Царь от бога и судить его может один суд божий.

Антон не пропускал ни одной беседы отца Парфёна с Ко-

тельниковым. Когда они спорили, ему казалось, что больше прав Котельников. По нему выходило, что создал землю, животных и человека не бог, как это говорил отец Парфён, а появилось всё это само собой, как, например, днём само собой по небу ходит солнце, а ночью сама собой ходит луна.

Иногда в беседах отца Парфёна с Котельниковым принимал участие и Гермоген. Он чаще всего был на стороне отца Парфёна.

– Зачем бога нет? – говорил он, – Бога нада. Николай бога не был, якута обманывал, юрта жёг.

– Да сторит он на огне в преисподней, ибо грех его тяжкий, – замечал отец Парфён и крестился.

Сардана во время этих бесед готовила чай. Когда она их разносила, отец Парфён просил: «А мне бы, милая, что-нибудь покрепче».

– Отец Парфён, бросьте пить, – говорил ему Котельников. – Ведь верующим это делать, должно быть, стыдно.

– Все во грехе ходим, и каждый по ним наказан будет, – вздыхал отец Парфён и говорил, что бог его уже наказал, лишив сил для возвращения на родину.

– И здесь вы, отец Парфён, не правы, – не соглашался с ним Котельников. – Это не бог вас лишил сил, а водка.

У отца Парфёна потел нос и слезились глаза не потому, что он сердился на Котельникова, а потому, что перед ним ему было стыдно.

Х

Пришло лето. За ночь позеленела листовница, на тополях и чозениях появились почки, повыскакивали из своих нор бурундуки, они грызли прошлогодние кедровые орешки и грелись на солнце. По тайге уже бродили медведи, стаи куропаток, порхая с одного склона распадка на другой, искали оставшуюся с пошлого года бруснику. Эмтегей, освободившись от долгого ледяного плена, весело накатывал волну на берег, звенел на перекатах.

В середине лета Анна родила сына. В память об отце его

назвали Гришей, фамилию оставили материнскую. Во время его крещения у отца Парфёна закружилась голова, и он потерял сознание. Его уложили в постель и напоили брусничным чаем. Вечером он попросил настойки, а когда ему её дали, пить отказался.

– Душа не принимает, – сказал он и отвернулся к стене.

Подняла на ноги отца Парфёна Сардана травами, но дальше крыльца выходить он на улицу уже не мог. Даже в тёплые дни выходил в полушубке и торбасах, его постоянно знобило, а ноги, когда мёрзли, казались чужими. На крыльце отец Парфён смотрел на всё, что его окружало, но, кажется, ничего не видел.

Глаза его были мутными, как студень, кроме тоски и безразличия ко всему они ничего не выражали. Когда в тайге ревел лось, или на Эмтегее с шумом падал в воду подмытый берег, он смотрел туда с таким видом, словно находил там что-то подозрительное.

– Кушай надо, – звала его Сардана в дом.

– Не хочу, милая, – отвечал ей отец Парфён и в дом не шёл.

Ночами отец Парфён своего села уже не видел. Если вспоминал о нём, то казалось оно ему чужим, словно и не жил он в нём никогда, не читал молитв в своём приходе, не растил детей.

Иногда снилась ему жена, но во сне она не узнавала его и просила Христа ради милостыни. Забыл он и лица своих детей. Один раз увидел он во сне младшенькую Нюшку, но не ходил он с ней, как раньше в своих сновидениях, по берегу реки, не видел на другом берегу косарей, похожих в своих белых рубахах на бабочек-капустниц, и Нюшка была не в цветном платье, а в холщовом рубище.

Не забыл отец Парфён одно: как ходил к архиерею Александру за повышением в сане, а оказался на его предсмертной исповеди.

Помнил он и его последние слова: «Каюсь, смерти боялся, а теперь вижу: и смерть – благодать божья». Тогда, возвращаясь под дождем и холодным ветром домой, отец Парфён злился на архиерея Александра, считал, что сказал он о смерти как о благодати, потому что в жизни не знал ни холода, ни голода,

катался в ней, как кот в масле, а бедному человеку, думал тогда отец Парфён, смерть – не благодать божья, а наказание, потому что он, можно сказать, и не жил, а только мучился.

Теперь отцу Парфёну казалось, что архиерей Александр был прав. И бедному человеку смерть – благодать божья, потому что она – единственное, что избавляет его от земных страданий. И хотелось отцу Парфёну скорее умереть, ведь и он ничего хорошего в жизни не видел. Дома нищета, голодные дети, унижение за кусок хлеба, здесь, на Эмтегее, дремучая тайга, бесконечные морозы и ледяные ветры, пропахшая потом кухлянка и грубая еда. И впереди уже нет ничего: ни радости, ни надежды на лучшее. Так зачем же жить?

Умер отец Парфён осенью. Вечером лёг спать, а утром не проснулся. Когда его хоронили, стоял солнечный день, окутанная лёгкой дымкой тайга тонула в жёлтом опаде, на сопках горела ярко-красной вороникой и блестела золотом оленьего ягеля, в небе большим клином тянули на юг гуси. В их прощальном крике было много печали, и казалось, что прощаются они не только с севером, но и с отцом Парфёном.

С вздёрнутой вверх бородкой и заострившимся носом в гробу отец Парфён не был похож на покойника. Казалось, он долго в нём лежать не будет, до того, как его опустят в могилу, из него поднимется, и скажет Сардане: «А мне бы, милая, что-нибудь покрепче». Анна и Сардана над гробом отца Парфёна плакали, осунувшийся за ночь Котельников стоял в стороне и много курил. Гермоген докапывал могилу.

На похороны отца Парфёна приехали инородцы из соседних стойбищ.

– Ой, жалко, ой, как жалко отес Парфёна! – говорили они.

На кладбище, когда отца Парфёна опускали в могилку, они положили в неё сушёной оленины и кухлянку.

– Там кушай нада. Тепло нада, – объясняли они это.

После похорон отца Парфёна в доме стало серо и неуютно, словно вынесли вместе с ним из дома и устроенность быта, и душевное равновесие.

Сардана стала часто болеть, Гермоген, забрав с собой Анто-

на, ушёл в тайгу на охоту, Анна не отходила от сына, Котельников то брался за свои книги, но мало находил в них нужного, то ходил из угла в угол и не знал, что делать. А на Эмтегей уже шла зима, по ранним ночным заморозкам и позднему снегу обещала быть холодной.

XI

Когда Котельников не был в разъездах по стойбищам, он занимался с Антоном. Подбирал ему нужные книги, рассказывал то, чего в них не было. Антону нравилось читать и слушать его рассказы о том, как устроена Земля, какие на ней леса, моря и реки, где живут другие народы, какие в далёких от Эмтегея звери и птицы. В то, что Земля круглая, Антон долго не верил, он не понимал почему, если она круглая, внизу под ней никто не падает.

Рассказывал Котельников Антону и о том, что было на Земле до появления на ней человека. Оказывается, много миллионов лет назад она была голой пустыней, потом появились моря и океаны. Из них вышли на сушу первые растения, они были похожи на болотных мух, но потом выросли в крупные, высотой в несколько листовенниц деревья. Первыми животными были рыбы, некоторые из них потом вышли на сушу. Здесь они сначала были похожи на ящериц, но потом выросли в огромных, длиной в десятки сажен, неповоротливых животных. Земля в то время разрывалась вулканами, заливалась огненными лавами, в небе выбрасывались огромные, величиной с юрту, камни. Животных на Земле становилось всё больше и больше, были разные,



отдельные из них были высотой до пятнадцати сажен. Были среди них и хищники, и травоядные. Потом появились птицы. Размах крыльев у них был чуть ли не в половину ширины Эмтегея. Совсем недавно, всего лишь около десяти миллионов лет назад, появились обезьяны, а от них произошёл человек. В это Антон не поверил. В одной из книжек Котельникова он видел картинки с обезьянами, они были противными, со сморщенными мордами и длинными хвостами. Если люди произошли от обезьян, то почему у них сейчас нет хвостов, и они не покрыты шерстью?

Антон не только познавал открываемый ему Котельниковым мир, но и учил грамоте сына Анны, Гришу, которому шёл уже одиннадцатый год. Ему, как и Антону, на занятиях с отцом Парфёном, не давалось умножение, и он не понимал, зачем в тайге умножение, если всё в ней делается сложением. Не давалась ему и грамматика. У бабушки Сарданы и Гермогена он взял якутский язык, у матери и Антона русский, и в грамматике он их часто путал. Хорошо давалась ему улица. На подворье он гонялся за Гермогеновыми собаками, в лесу ловил бурундуков, на реке рыбу, а когда Гермоген сделал ему лук, он стрелял из него по воронам. Нравилось ему слушать рассказы Котельникова об открытии новых земель и народов, о борьбе этих народов с названными пришельцами. Гриша не только слушал его, но и был участником рассказываемых событий. С Македонским завоёвывал Азию, с Колумбом открывал Америку, в Индии командовал отрядом, сражавшимся с английскими колонизаторами, в Китае, в борьбе с монгольскими феодалами, был заодно с императором.

Летом, в погожие дни, с Антоном и Гришей Котельников проводил занятия на природе. Здесь он им рассказывал много интересного.

Оказывается, лиственница, стланик и горная смородина содержат в себе много смолы, чтобы не погибнуть зимой от переохлаждения. Смола на морозе не теряет тепло и в лёд не превращается. Стланик перед наступлением зимних холодов прижимается к земле, чтобы его засыпало снегом. Под снегом

не так холодно, как на открытом воздухе. В местных растениях много разных лекарств. Если к ране приложить болотный мох, она быстро заживёт. Цингу вылечивают стлаником. В северной природе, оказывается, всё крепко друг с другом связано, потому что лишнего в ней ничего нет. Если, например, на юге уничтожить все деревья с кедровыми орешками, бурундуки перейдут на хлебные злаки, а если это сделать на севере, они вымрут. На юге лисы едят зайцев и мышей, на севере в лесу мыши не водятся, поэтому, если уничтожить здесь зайцев, и лисы вымрут. Не составляет исключения и человек. На юге он ест и мясо, и хлеб, и овощи, и фрукты, а на севере одно оленьё мясо. Отними его у человека, и он умрёт с голоду. Поэтому, говорил Котельников, северную природу надо беречь. Не оставлять в тайге незатушенных костров, они вызывают лесные пожары, не убивать зверей и не ловить рыбы больше, чем тебе надо, иначе потом будет есть нечего.

ХII

Шли годы, Котельников с Гермогеном всё ещё разъезжали по стойбищам. Когда этого не делали, Котельников обрабатывал собранные материалы. Сардана всё болела, и домашнее хозяйство вела Анна. Гермоген с уже возмужавшим Гришей ловил рыбу и бил диких оленей, Антон читал книги и помогал Анне.

Однажды Котельников с Гермогеном, вернувшись из разъезда, сообщили, что среди инородцев ходят слухи о двух русских, которые что-то ищут в тайге. Слухи вскоре подтвердились.

В один из поздних вечеров, когда Гермоген на подворье ладил в дорогу нарты, а Анна готовила ужин в летней кухне, появились они.

Один из них был высокого роста, с тяжёлым, по-бычьему, лбом и глубоко посаженными глазами, у низкорослого его товарища бросались в глаза короткие ноги и по-вятски круглое с носом в пуговицу лицо.

– Здрасьте вам, – весело сказал коротконогий, а не получив сразу ответа, испугался: «Ай ня примите?».

Их пригласили в дом, накормили, угостили голубичной на-

стойкой и стали спрашивать: кто такие и что делают в тайге? Коротконового звали Митей, а его товарища Трофимом. Пришли они из Охотска по Алдано-Оймяконскому тракту, выйдя на него по реке Оле. И по дороге, и здесь они ищут золото, но пока им не фартит. Однако надежды на то, что золото найдут, не теряли.

– Нячо, мы вятскаи люди хватскаи, и нам хварт будеть, – бодро говорил Митя.

Котельников, узнав, что свою Вятку Митя оставил всего два года назад, стал спрашивать его, что в России нового, кто сидит на царском троне, как живут простые люди. Кто сидит на троне, Митя не знал, но хорошо знал, как живут простые люди.

– Зямой хрен с квасом, а вясной и солома ядома, – весело сообщил о них Митя.

А когда Котельников спросил, не воюет ли с кем Россия, Митя ответил: «С гярманцем».

– С каким «гярманцем»? – не понял Котельников.

– С нямецким, – удивился Митя, что Котельников его не понял.

Трофим всё время молчал, а Мите, похоже, уже надоело отвечать на вопросы Котельникова. По словно выпискивающему что-то лицу, по тому, как не мог спокойно усидеть на своём месте, было видно, что хочет он рассказать всем очень ему близкое. Наконец это ему удалось.

– Тятя мене говорит, – начал он весело, – жанись, Митька, а я, дурак, ня в какую. Жанилка, говорю яму, у мяне ня выросла. Ах, жанилка ня выросла, рассярдился тятя и за вожжи. Отхлястал, как надо, а маманя уже и нявестку привяла. Жанился. Гляжу, а девка, что б яё тараканы съели, хоть якону пяши. Лицо круглое, глаза нябесного цвета, а коса – хоть вожжи пляти. А уж хозяйшкa – и другой ня надо: от пачи не отходит, на столе бляны да пяльмени, в избе, как в твоей святёлке, и с огорода до вечера не выгонишь. А ночью на сяновал с ней. Ой, чтоб нас тараканы съели! – рассмеялся Митя. – Чо только не делали. И цалуемся, и слова говорим ласковые, как будто мы ня на земле, а в раю нябесном.

Рассказ Мити прервал звон колокольчика на подворье. Приехали якуты за Котельниковым. Он уже давно, разъезжая по стойбищам, не только собирал материалы по сбыту и нравам инородцев, но и занимался медицинской практикой. Лечил от простудных и кишечных заболеваний, выводил язвы, вправлял вывихи, накладывал шины на переломы. Якуты приехали за ним, чтобы он помог охотнику, которого в тайге помял медведь.

Когда Котельников и якуты уехали, Митя продолжил свой рассказ.

– Вот я тебе и говорю: с нявесткой – как повязёт. Один ищет кралю, говорит: у мяне жанилка уже выросла, а найдёт и жизни ня рад: на кухня горшки из рук у неё валяются, на столе – тараканы с квасом, в огороде – лябьяда да карапива, а ночь – яё и на сяновал ня утянешь. Я говорит, тебе ня люблю, у тебе жанилка ня выросла.

– Засем занилка много расти? – перебил Митю Гермоген. – Умный голова и сильный ног супруг любит. С ними тайга не сдохнешь, супруг жирный мяса кушать будет.

– Ха, – рассмеялся Митя, – а как дяточек рожать будешь? Головой и ногами? Ну, ты, дяденька, и даёшь!

– Дети рожать, жанилка большой не нада, – не согласился с ним Гермоген.

На следующий день Антон попросил Митю с Трофимом, чтобы они взяли его с собой в тайгу. Ему было интересно узнать, как ищут золото.

– Валяй, – согласился Митя, – всеслее будеть, а то яз этого дяди, – мотнул он головой в сторону Трофима, – и за няделю слово ня вытянешь.

И на самом деле: за весь вчерашний разговор Трофим не проронил ни слова. Сидел со скучающим видом, смотрел то в потолок, то в окно, но было видно, что и там его ничего не интересует.

ХІІІ

В Колыме стояли белые ночи. На небе, окутанным в белую дымку, не было звёзд. Расплывшаяся в большой шар бледная

луна, казалось, стоит на месте. Тайга утопала в сонном оцепенении, реки, словно их остановили в своём беге, не звенели на перекатах, не крутили водовороты. Стояла такая тишина, что казалось, за ней никогда не будет ни весёлого щебета птиц, ни шелеста листьев в чозениевых рощах, и не будет уже ни весёлого солнца на небе, ни холодных по осени гроз, ни зимних метелей, без конца будут стоять одни белые ночи.

В такие ночи Котельников часто возвращался в своё петербургское прошлое. Вот и сейчас, у костра, разложенного на привале по пути к помятому медведем якуту, он видел себя на берегу Невы. Над ним стояла такая же белая ночь, на небе не было звёзд, похожая на большой бледный шар луна висела над Петропавловским собором.

В Петербурге начиналась революционная деятельность Котельникова. Он и его университетские товарищи собирались на конспиративной квартире, читали запрещённую литературу, обсуждали политическую обстановку в России. Тогда всем казалось, что построить справедливое общество в России нетрудно, потому что царское самодержавие прогнило и противопоставить себя выступлениям народных масс не сможет.

Одни считали, что начинать надо с просвещения народа, потому что непросвещённый народ не поймёт и власть в своих руках не удержит.

Другие утверждали, что начинать построение нового общества надо с революции, потому что на просвещение народа уйдут многие годы, в течение которых он может наполовину вымереть с голода. Просвещать его, считали они, можно и после революции.

Котельников придерживался первых взглядов. Как и его единомышленники, в летние каникулы он покидал Петербург и шёл, как тогда говорили, в народ. Для него этим народом были крестьяне в родном уезде.

Хорошо запомнил он своё последнее к ним хождение. Случилось это в деревне Горяевке. В первой избе, куда он зашёл, стоял такой тяжёлый запах, что у него закружилась голова. Несло из стоящего у порога помойного ведра, а когда он вошёл в

горницу, то обнаружил, что тяжёлый запах идёт и из подвешенной к потолку детской люльки. Лежал в ней ребёнок со старушечьим лицом и вспухшими от голода ногами. Во взгляде его не было ничего, что говорило бы о жизни. Присмотревшись, Котельников увидел, что вся серая от грязи голова ребёнка в коростах.

– Бабушка, – обратился он к старушке сидящей у люльки, – головку-то ребёнку надо бы помыть.

– А на кой ляд. Всё одно помрёт, – ответила старушка.

Присмотревшись к ней, Котельников понял, что перед ним не старушка, а женщина с высохшим от голода лицом. Когда он уходил, она попросила:

– Поддай Христа ради. Сама с третьего дня не евши.

В следующей избе умирал на печи старик. Домочадцы хлебали за столом суп из крапивы и на него не обращали внимания. Когда он попросил пить, воды ему никто не поднёс, все жадно дохлёбывали то, что оставалось в чашках.

И только в третьей избе Котельников увидел достаток. За столом сидел мужик с хомячьей физиономией и ел кашу. Узнав, зачем пришёл Котельников, он расхохотался, а потом сказал: «Друже, ты ж заблудився. Мэни твоя грамота, що попу гармонь».

И, провожая Котельникова, со смехом посоветовал: «Иды в мий хлев. Там Питька, мий работник, дэрмо вбирает. Научи этого поганого псяку, як хозяина слухать треба».

После похода на деревню Горяевку Котельников понял, что голодному народу не до просвещения, а чтобы его накормить, нужна революция и передача власти. А сытый и свободный от гонения народ и сам пойдёт в просвещение.

Теперь Котельников и на митингах, и в марксистской прессе призывал к свержению царского самодержавия и установлению народной власти.

Вместе с тем он не забывал своей учёбы в университете. Хорошо у него шли естественные и исторические науки, а по вопросу связи народонаселения с географическими ландшафтами Древней Руси у него были публикации.

– Молодой человек, у вас большое будущее, – говорил ему профессор Скляревский.

С ним Котельников сошёлся ещё на первом курсе, связывали его с ним одинаковые представления о возникновении христианства на Руси. Оба были увлечены историей литературы и считали, что первым литературным произведением на Руси было не «Слово о полку Игореве» безымянного автора, как это утверждали многие, а «Слово о законе и Благодати» Иллариона. Однажды Котельников решил открыть профессору Скляревскому свои представления о политической обстановке в России.

– Немедленно прекратите этот разговор! – вскричал профессор. – Немедленно! Наука и политика несовместимы! – А успокоившись, добавил, – прошу вас, не губите свой талант, он от бога, а политика – это блуд человека в потёмках своего невежества.

В день защиты дипломной работы в университете профессор Скляревский вызвал к себе Котельникова и, потирая руки, словно только что завершил важную и интересную работу, сказал: «Радуйтесь, молодой человек, для продолжения учёбы вас направляют в Лейпцигский университет. Надеюсь, не подведёте нас, покажите этой немчуре, на что способны русские ломоносовы».

Вместо Лейпцига Котельников попал в Туруханск. Выдал провокатор. Им оказался университетский товарищ, который тоже хотел в Лейпциг. Был ли этот мерзавец направлен в Лейпциг вместо него, Котельников не знал, Туруханск – ссылка дальняя и связи с ним практически никакой не было.

Из Туруханска Котельников бежал, перейдя границу, некоторое время скрывался в Германии, но по возвращению из неё скоро снова был арестован. После этого вся жизнь его состояла из ссылок и тюрем, в промежутках между которыми он отдавал себя революционной работе. После последнего ареста он три месяца отсидел в каземате Петропавловской крепости, потом был приговорён к восьмилетней каторге, которая по высочайшему велению была заменена бессрочной ссылкой в Якутск. В

ней он готовился к побегу, сорвали его трагические события, связанные с протестом ссыльных, отправляемых по этапу в Среднеколымск.

Возмущённые неподготовленностью этапа, отсутствием тёплой одежды и необходимых в дороге продуктов питания, они закрылись в одном из домов и заявили, что не выйдут из него до тех пор, пока власти не подготовят этап надлежащим образом. Котельников был с ними, а когда дом оцепили вооружённые солдаты, его послали в город за помощью.

Помощь прийти не успела. Солдаты открыли по ссыльным огонь, несколько человек были убиты, а трое, по приговору военного суда, через три месяца повешены. Котельникова сослали в Оймякон.

XIV

В стойбище якута, помятого медведем, прибыли вечером. В юрте, где он лежал, на камнях тлели угли, по углам со скорбными лицами сидели якуты, в изголовье больного, в кухлянке увешанной медными бляхами и с бубном в руках, сидел шаман. Якут был без сознания, бледное лицо и глубоко впавшие глаза говорили о том, что состояние его тяжкое. Увидев Котельникова, шаман вскочил на ноги, зло выругался и ударил в бубен. Звуки, отражаясь от стен юрты, наполнили её закладывающим уши рокотом. Внезапно вспыхнули тлеющие на камнях угли, а по юрте, казалось, ударил ветер.

– Гыть! Гыть! Гыть! – иступлённо вскрикивал шаман и всё сильнее ударял в бубен.

Скоро его стало трясти, глаза закатились под лоб, а потом, словно поднятый на дыбу, он стал корчиться в судорогах. Котельников этому не удивился, он видел, что в чашке рядом с ним лежали красные мухоморы, вызывающие при употреблении галлюцинации и алкалоидное отравление. Придя в себя, шаман оглядел сидящих в юрте якутов, словно впервые их увидел, и запел речитативом:

«Мы беззащитные людишки,
Мы слабее больной важенки.

Уходи от нас, злой дух,
Иди в тайгу. Здесь нет большого Афанасия,
Он здоров и давно ушёл на охоту».

И снова рокотал бубен, сотрясая юрту, как от ветра вспыхивали в костре угли, они с треском разбрасывали по сторонам горящие ветки, казалось, и костёр сердится на злого духа и гонит его за здоровым Афанасием в тайгу. В завершение шаман дал Афанасию женское имя Кюней. Расходились якуты по своим юртам с уверенностью, что Афанасий обязательно встанет на ноги, потому что у него теперь женское имя, а с ним злой дух его никогда не найдёт.

У якута оказалась вывихнута левая рука и подрана когтями грудь. Он много потерял крови, а раны на груди уже покрылись коростами и гноились. Вправив ему руку, Котельников взялся за раны. Не трогая корост, он очистил их от гноя, смазал соком пижмы и наложил на них сфагновые повязки.

До того, как якут придёт в себя и пойдёт на поправку, Котельников решил остаться в стойбище. Поселился он в юрте старика, которого звали Тэнкэ, что в переводе на русский язык – «высокое дерево». Видимо, это было его ненастоящее имя, а прозвали его так за необычный для якутов большой рост. В молодости он жил в Алдане, где выучился русскому языку, и теперь, несмотря на то, что Котельников уже освоил якутский язык, разговаривал с ним по-русски. Он хорошо помнил своё прошлое и считал, что раньше якутам жилось лучше. Они держали коров и лошадей, кочевали только два раза в году – на летники и зимники.

– Зачем олень? – не понимал он. – Олень бегай много нада.

Не нравилось Тэнкэ и то, что якуты теперь охотятся на зверей ружьями. Раньше на оленя и лося ставили беззвучные самострелы, а на медведей всегда делали из деревянных срублов ловушки.

– Зачем стреляй? – спрашивал он. – Шум много, зверь тайга бегай. Далеко ходи нада.

Считал Тэнкэ, что раньше в тайге и дикоросов было больше. Брусники хоть мешками собирай, грибы росли прямо в юртах,

кедровые шишки на стланиках были не как теперь, в полпальца, а в целый кулак, поэтому и бурундуки были в два раза больше. А в реке водилась рыба, у которой одна голова тянула на оленью, а на озеро по весне прилетало столько уток, что их били палками.

– Ой, дедушка, неправда это! – смеялся Котельников.

– Зачем неправда? – сердился Тэнкэ. – Ты тогда не был, а Тэнкэ был.

На третий день пребывания Котельникова у якутов в стойбище появился тойон. Он был похож на того тойона, который стрелял в Ивана Решетова, а попал в ногу отца Парфёна. Он также был крупного сложения, с тяжёлым лбом и глубоко посаженными глазами.

В стойбище всё замерло: перестали бегать по нему дети, куда-то попрятались собаки, без особой надобности якуты уже не выходили из своих юрт. Остановился тойон у шамана, а отдохнув с дороги, собрал якутов у его юрты.

– Вы все мои должники, – сказал он. – Ты, – указал он на одного якута, – должен мне два оленя, – ты, – указал он на другого, – четыре, но больше всех мне должен Иннокентий. Целых десять оленей он мне должен. Столько оленей у Иннокентия нет, поэтому я беру у него дочь Саргылану, пусть она будет моей третьей женой.

Якуты молчали. Они знали, что тойон от своих решений никогда не отказывается. Молчали и Иннокентий с Саргыланой. За них вступился Котельников. Показав тойону лист бумаги, вырванной из записной тетради, он сказал ему:

– Эта бумага пришла из Якутска. В ней написано, что скоро сюда придут вооружённые казаки и будут убивать всех, кто обижает бедных, как это делали казаки, которые убили Николая Решетова. Они убьют и тебя, если ты заберёшь с собой Саргылану.

Злой тойон, забрав у Иннокентия последних трёх оленей, уехал из стойбища. Убедившись, что якутов по-прежнему обижают и обманывают шаман с тойоном, Котельников решил рассказать им, как борется простой народ России за свои права. И

в России, говорил он им, есть свои тойоны, во главе их стоит царь, у него много жандармов, они ловят непослушных и сажают их в тюрьмы. Но народ, говорил Котельников, не сдаётся, собирается в вооружённые отряды и скоро сбросит со своей шеи царя и повесит всех его тойонов.

Якуты Котельникова внимательно слушали, согласно кивали головами, но было видно, что они его не понимают. В чём дело, объяснил Тэнкэ.

– Зачем тойон вешай? – сказал он. – Тойон вешай не нада. Нет тойон, плохо: все бегут стороны, а один худо, помирай скоро.

На это Котельников говорил Тэнкэ, что на место повешенного тойона они могут выбрать своего. Тэнкэ и с этим не соглашался.

– Выбирай не нада, – говорил он. – Тойон сам себя выбирай. Он сильный.

«А может, он и прав, – думал иногда Котельников. – Ведь не выбирали же себе первобытные люди вождей, не выбирали их и кочевые племена древних славян, ими становились сильные и решительные. Видимо, выборы не для тех, кто ещё плохо организован и находится на невысоком уровне общественного и индивидуального развития».

Свои выводы Котельников боялся распространить и на нынешнюю Россию. Ведь в этом случае борьба его с царским самодержавием становилась ничем не оправданной. Однако это ему не всегда удавалось.

Часто всплывал в памяти университетский однокурсник Беликов. Он не был согласен с Котельниковым в том, что главное зло в России царское самодержавие.

– Вы почитайте Гегеля, – советовал он Котельникову, – и всё поймёте. Из трёх форм государственного правления, монархической, аристократической и демократической, России он отводил первую. И неслучайно, Россия, писал он в «Философии права», не швейцарский кантон, она необъятна и плохо освоена, в ней много национальностей и народностей, люди в ней тёмные и бедные, они не знают законов и живут обычаями,

а поэтому только крепкая власть, только монарх в состоянии сохранить её на уровне государственной самостоятельности. Дай России демократию, выборность государственных органов, она развалится в анархическом разгуле и междоусобных войнах.

«А может, Беликов прав, – думал теперь Котельников. – Ведь Россия и сейчас не швейцарский кантон. Она по-прежнему слабо развита и трудно управляема».

Когда эти мысли приходили к Котельникову, он не знал, куда от них спрятаться. Не помогало ни чтение книг, ни работа над бытом и нравами местного населения.

XV

От якутов, приезжающих из Оймякона, стало известно, что в России произошла революция, но какая и кто взял власть в руки, они не знали. Чтобы узнать, что же произошло в России, Котельников решил направить в Оймякон Гришу. Воспротивилась этому мать Гриши, Анна. Она боялась, как бы с сыном в этой дальней дороге чего не случилось. Уговорил её Котельников после того, как было принято решение послать с Гришей Гермогена. Гермоген на эту поездку охотно согласился.



– Мой старый, – сказал он, – а ноги крепкий. Зачем дома сиди, брюхо корми. Шевелись нада.

Вернулся Гриша с Гермогеном через две недели. Поездкой оба были довольны. Их принял председатель Оймяконского ревкома и рассказал, что происходит в России. Власть там взяли в руки большевики во главе с Лениным, все её богатства перешли в руки бедных, но угнетатели народных масс не сдаются, они развязали гражданскую войну.

– Ленин – большой тойон, – говорил Гермоген, – он за народный масс, якутам делай хорошо будет.

Из Оймякона Гермоген привёз самовар, сестре Сардане – конфет и платье.

– Самовар много чай пить будем, платья красивый Сардана смотреть будем, – сказал он.

Сардана рассмеялась и сказала, что ей не в платье ходить, а пора уже готовиться в могилу.

– Зачем могилу? Советска власть жить нада, – ответил ей Гермоген.

Понравилось Гермогену как их принял председатель ревкома.

– Товарис Гермогена меня звал. Чай поил. Тойона велел ловить, – говорил он.

Грише в ревкоме выдали наган, красное знамя и удостоверение в том, что ему, как представителю ревкома, поручается проводить среди местного населения агитационную работу в пользу советской власти, дали разрешение на арест и конфискацию имущества эмтегейского тойона.

– Будет сопротивляться, стреляй, – сказал ему председатель ревкома.

Узнав всё это, Котельников засобирался в Якутск, а оттуда в Петербург, но его уговорила остаться на Эмтегее Анна.

– Гришу без вас убьют, – сказала она, – ведь он, как и его отец, бросится здесь под первую пулю.

Котельников решил остаться ещё и потому, что будет помогать Грише в становлении советской власти на Эмтегее, и закончит свою работу над бытом и нравами местного населения.

Гермогена с Гришей теперь было не разлить водой. Они намечали поездки по стойбищам с целью агитации населения за советскую власть, обсуждали, как поймать тойона, и как потом распределить его оленьи стада по бедным и сколько их гнать в Оймьякон в распоряжение ревкома, думали, что делать с шаманом, чтобы не дурил головы людям.

Узнав, что тойон на Улахан-Чистае, они стали готовиться к поездке туда. Подбирали крепких оленей, заготавливали продукты, проверяли оружие. Через три дня к отъезду было всё готово.

– Тойона верёвка водить будем, – пообещал на прощание Гермоген.

Скрылся тойон на Улахан-Чистае после того, как узнал, что на Эмтегей идёт советская власть, которая с такими, как он, долго не разговаривает. Юрту поставил на горе, где раньше стояла юрта Николая Решетова. Отсюда был хороший обзор, подступы к юрте ничем не прикрывались. Тойон ожидал, что придёт за ним, как и за Николаем Решетовым, большой вооружённый отряд, и поэтому, когда увидел, что к юрте приближаются два человека, решил, что это пастухи его стада.

Войдя в юрту, Гриша предъявил тойону разрешение ревкома на его арест, а Гермоген забрал у него нож и разрядил ружьё. От неожиданности тойон растерялся, но когда пришёл в себя, зло зашипел и бросился на Гришу. Выхватив из кобуры наган, Гриша хотел тойона пристрелить, но Гермоген, заломив тойону руки за спину, сказал: «Стреляй не нада. Живой нада».

Не знал Гермоген, что, сохранив жизнь тойону, он оставит здесь свою. Прощаясь с женами, тойон выхватил, висевший у одной из них на поясе используемый для выделки шкур, нож и ударил им Гермогена в горло. Пристрелив тойона, Гриша кинулся к Гермогену. Рана оказалась смертельной. Задыхаясь в крови, и не приходя в сознание, Гермоген скончался.

На похороны Гермогена съехались якуты из соседних стойбищ.

– Помирай Гермогена за нас, – говорили они, и хотели похоронить его по своим погребальным обычаям.

Котельников и Гриша с ними не согласились. Они решили похоронить Гермогена так, как хоронят борцов за советскую власть. В гроб положили его под красное знамя, на кладбище Котельников сказал о нём прощальное слово, в могилу опускали гроб под ружейные выстрелы. Якуты, как и отцу Парфёну, Гермогену в могилу положили сухой оленины и кухлянку.

– Там кушай нада. Тепло нада, – сказали они.

Положили якуты в могилу охотничий нож.

– Убивай тойона там нада, – объяснили они это.

Через месяц умерла сестра Гермогена, Сардана. До этого она много болела, по ночам задыхалась в кашле, часто прихватывало сердце. Смерть брата скосила её окончательно. В гроб положили Сардану в привезённом Гермогеном из Оймякона платье.

А на Эмтегей уже надвигалась осень. На тропах и чозениях желтели листья, начинала опадать лиственница, солнце, лениво поднявшись в небо, скоро пряталось за горизонтом, в непогоду шли дожди со снегом, дули холодные ветры.

XVI

Когда выпал снег, из тайги вышел Антон. Митя с Трофимом остались в тайге на всю зиму – бить шурфы и мыть золото. Бить шурфы зимой было легче, их не топило водой. Антон сходил на могилы Гермогена и Сарданы и помянул их добрым словом. Были они ему ближе погибшего из-за жадности отца и неизвестно где скрывающейся матери.

Привёз Антон составленную им в тайге карту междуречья Колымы и Индигирки. На ней были показаны реки и горы. У каждой из рек содержались сведения о их полноводности, возможности по ним сплава, указаны места, где можно перейти вброд. Горы были охарактеризованы высотой и крутизной склонов, показаны пути перехода через них.

Карта содержала сведения о местоположении постоянных стойбищ местного населения. Показаны на ней пастбищные угодья и места возможного промысла рыбы. На берегу озера Дарпир Антон обнаружил остатки рубленных из лиственницы четырёх изб. Они уже сильно осели в землю, а всё, что остава-

лось наверху, едва держалось от ветхости. Эвены, которых Антон нашёл занятых рыбной ловлей на озере, сказали, что в этих избах жили русские, пришедшие сюда по Омулёвке из Верхнеколымска. Все они поумирали в год, когда здесь разразилась эпидемия неизвестной болезни. Считая, что на месте поселения русских водятся злые духи, эвены его обходили стороной.

Не найдя ни в одной из изб икон, Антон решил, что жили здесь староверы. Видимо, они бежали сюда из Верхнеколымска, потому что и в нём не нашли себе места среди представителей новой веры.

Побывал Антон и в верховьях Берелёха на озере Малык-Кюель. Оно было большим, как море, противоположные берега не просматривались в ясную погоду, в непогоду на нём вздымались крутые, высотой с юрту волны.

Жили на озере оседлые якуты, промыслили они рыбой и охотой на диких оленей. Они всё ещё не знали, что такое соль, и когда Антон дал им её попробовать, они долго плевались. Считая, что в ружьях, из которых бьют зверей, таится злой дух, на охоте они их не применяли. На оленей они ставили самострелы.

Было видно, что малык-кюельские якуты народ миролюбивый, не претендующий ни на что чужое. Оказалось, что в их лексиконе совсем нет бранных слов и таких, как «враг» и «ненависть». Среди них бытует мнение, что в озере водится чудовище с длинной, в две сажени шеей, и маленькой, как у оленя, головой. Хвост его длинный и составляет половину туловища, ноги кривые и короткие, а по спине большие клинообразные выросты. Голодный, он выходит на берег, увидев зазевавшегося на водопое оленя, убивает его хвостом и уносит с собой в воду. Были случаи, когда он набрасывался и на людей.

Верили малык-кюельские якуты и в то, что в горах, расположенных на востоке, водятся люди, обросшие с ног до головы шерстью. Ни зимой, ни летом они не носят одежды, увидев человека, рычат и убегают в горы.

И чудовище из озера, и обросшего шерстью человека видел своими глазами старик Токур. Как это было, он рассказывал

Антону. Оказывается, чудовище на него набрасывалось, и если бы он не ударил его вовремя палкой по голове, то унесло бы его оно в своё озеро. С волосатым человеком Токур встречался не раз. В конце концов, они так привыкли друг к другу, что вместе жарили на костре мясо.

– Дедушка, а ведь вы это придумали, – сказал однажды Токуру Антон.

На это Токур ответил, что никому не дано придумать то, чего не существует на свете. Правда, когда свои истории он рассказывал ещё раз, оказывалось, что бил по голове чудовище палкой и жарил на костре мясо с волосатым человеком не он, а его дедушка.

Были на карте Антона отражены и геологические данные, полученные им при изучении береговых обнажений горных пород. Особыми знаками были выделены места распространения пород, образовавшихся из магмы и продуктов её разрушения, отложившихся на дне древних рек и водоёмов. По остаткам раковин выделены участки распространения пород, образовавшихся в море. Там, где он с Митей и Трофимом бил шурфы и промывали пески на речных косах, оконтурил участки распространения золота с различным содержанием его в породах. По рассказам якутов и эвенов он отметил на карте, где в обнажениях выходят на поверхность пласты угля. С собой Антон принёс большое количество отобранных из обнажений образцов пород и теперь уточнял их название.

Привёз Антон из тайги не только карту, но и молодую жену, которую звали Ирэткэной, что в переводе с языка эвенов – молодая лиственница. Небольшого роста, с чёрными, как уголь, глазами и пухлым подбородком, она оказалась такой непоседой, что и минуты не могла усидеть на одном месте. Утром убиралась в доме, мела пол, выносила из дому мусор, днём помогала Анне готовить обед, когда все садились за стол, разливала по чашкам похлёбку, вечером бегала на Эмтегей за водой, убирала после ужина стол и мыла посуду. Всё это она делала весело и так ловко, словно в своём стойбище только этим и занималась. В доме с ней, казалось, стало светлей, словно по

углам его расставили светильники. Светлее стала и жизнь в доме. Забывалась горечь утраты Гермогена и Сарданы, не томили длинные полярные ночи и трескучие морозы за окном. Вечером все собирались на кухне за самоваром. После чая Котельников с Антоном играли в самодельные шахматы, Гриша готовил снаряжение к очередной поездке в стойбища, Анна и Ирэткэна намечали дела на завтра.

Всем казалось, что покой и согласие, вселившиеся в дом, останутся в нём навсегда, не будет ни утрат, ни горя, ни тревог, ни душевного беспокойства.

Никто не знал, что беда, свалившаяся на молодую советскую власть в Якутии, идёт и на Эмтегей.

XVII

В захваченном белогвардейцами Оймьяконе Гришу выдал оказавшийся там эмтегейский якут, ходивший у тойона в помощниках.

– Тойона стрелял. Товариса нас дразнил, – сообщил он офицеру, к которому привели Гришу.

У офицера был гнутый, как клюв у попугая, нос, толстые усы и по-коровьи голубые глаза. Казалось, кроме желания делать людям добро, в этих глазах ничего не таятся.

– «Товариса», говоришь, дразнил, – рассмеялся офицер, – хар-рашо. А скажи-ка нам, – обратился он к Грише, – и куда это ты скрыл тойоновых оленей?

Гриша решил ни на какие вопросы офицера не отвечать.

– Олень ревком гонял, – сообщил офицеру якут.

– Хар-рашо, – не возмутился молчанием Гриши офицер. – Оленей товарищи скушали. Ну а кто в твоих помощниках на Эмтегее ходил?

Гриша молчал.

– Ну, и ладненько, – опять не возмутился офицер и крикнул за дверь, – Шурка!

Появился казак в меховой безрукавке на голом теле и в красных шароварах.

– Слухаю, ван Трохимыч, – вытянулся он у двери.

– Забери-ка этого молодца, кажется, мы друг друга не совсем поняли, – приказал офицер.

– Що, к стэнке гадюку, чи петлю на шею? – решил уточнить Шурка.

– Ох, Шурка, Шурка, какой ты жестокий! – всплеснул руками офицер. – Всё тебе стрелять да вешать. Нет, ты уж с ним по-хорошему.

– Слухаю, Ван Трохимыч, – снова вытянулся Шурка и приказал Грише: – Пийшлы. Дэрмо з тоби выбивать будэм.

Гришу увели в соседнюю комнату, раздели до пояса и привязали к скамье. Били его по спине два солдата снятыми с себя ремнями, а Шурка ими командовал: «Бей! Жги гадюку!».

Заметив, что один из солдат бьёт не так, как надо, он выхватил у него ремень и стал бить Гришу пряжкой. Потерял Гриша сознание, когда его, уже отвязанного от скамьи, пинал ногами Шурка.

Очнулся Гриша в деревянном сарае. В нём было темно и холодно, у дверей стояла охрана. Вечером его привели на допрос к офицеру с клювообразным носом и голубыми глазами.

– Ну, и как, молодой человек, подумали, что нам делать дальше? – улыбаясь, спросил он.

Гриша молчал.

– Хар-рашо, – сказал офицер и вызвал Шурку. – Молодой человек молчит, в чём дело? – спросил он его.

– Ван Трохимыч, лупили, як сидорову козу. Молчить гадюка, – ответил Шурка.

– Ну что ж, – поморщился офицер, – и мы сюда не за блинами приехали.

– Що, к стэнкэ яго, чи петлю на шею? – довольный, что офицер наконец-то принял решение, спросил Шурка.

– Ах, Шурка, Шурка! – как и раньше, всплеснул руками офицер. – Ты опять за своё. Всё тебе стрелять да вешать. На площадь его да плётками. Пусть народ видит, как идти в свои революции.

Гриша знал, что на площади белогвардейцы забивают свои жертвы насмерть.

Спасли Гришу оставшиеся в живых ревкомовцы. У сарая, где он содержался, ночью они сняли охрану и увели его в тайгу. Было их трое. Остальных ревкомовцев белогвардейцы расстреляли, а они в день расстрела были в разъезде по стойбищам.

По ночам Гриша и ревкомовцы выходили из тайги, обстреливали белогвардейские избы, жгли их склады с продовольствием и боеприпасами. Поймав Шурку, они увели его в тайгу и расстреляли. Перед смертью он ползал перед ними на коленях и просил пощады. Поняв, что пощады не получит, стал грозить, что за его смерть Гришу с ревкомовцами повесят. На Якутск из Владивостока идёт армия генерала Пепеляева, отряды которой скоро будут и в Оймяконе. Что это за армия, ни Гриша, ни ревкомовцы не знали, но не знал Шурка, что армия Пепеляева уже сдалась советской власти, и поэтому белогвардейцы, занявшие Оймякон, обречены. Офицер, допрашивавший Гришу, обзавёлся охраной и взять его было трудно. Не отпускал он её от себя даже когда ходил в уборную. Якута, выдавшего Гришу, как и Шурку, поймали и расстреляли. Перед смертью он не ползал на коленях и не просил пощады. С тупым, ничего не выражающим лицом сидел под лиственницей, а когда повели на расстрел, заплакал. Грише его было жалко. Ведь не было у него никаких политических взглядов, тойон, которому он служил, превратил его в раба, не способного ни к самостоятельному мышлению, ни к решительным действиям.

Вернулся Гриша на Эмтегей, когда на Оймяконе была восстановлена советская власть. Белогвардейцы, не сдавшиеся в плен, были побиты, часть разбежалась по тайге. Офицера с клювообразным носом и голубыми глазами в тайге поймали. Когда его вели на расстрел, у него подкашивались ноги и, как от холода, дрожал подбородок. Он что-то пытался сказать, но слова застревали в горле, вместо них вылетали из горла звуки, похожие на птичий клёкот.

Встретили Гришу на Эмтегее с большой радостью. Мать Анна не знала, куда его посадить и чем накормить, а, сбившись с ног, села на стул и вдруг заплакала. Котельников с Антоном

с интересом слушали рассказ Гриши о событиях в Оймяконе, а Ирэткэма подкладывала в его чашку что повкуснее.

XVIII

Стоял июль, тайга утопала в зелени, раскалённое в красный шар солнце словно и не собиралось уходить с неба, прятались от него бурундуки в свои норы, укрывались в глухих распадах олени, даже комары, которых, казалось, не трогает никакая погода, спасались в тени таёжных подлесков и болотного кустарника.

На следующий день после отъезда Гриши по своим делам в соседнее стойбище, а Антона, Мити и Трофима за новыми данными по золоту, на Эмтегее появились белогвардейцы. Было их трое, двое в офицерском звании, один в чине подпрапорщика. В одном из офицеров Котельников узнал своего университетского товарища Беликова. Это он убеждал его в том, что России революция не нужна, а ссылался на Гегеля, говорил, что власть в ней должна оставаться монархической, иначе она потеряет государственную самостоятельность в анархическом разгуле и междоусобных войнах. Обросший, с глубоко впавшими глазами, в которых, казалось, нет ничего живого, он был похож на человека, недавно перенесшего тяжёлую болезнь. Узнал и он Котельникова.

– И вы постарели, – сказал он так тихо, что казалось, сказал это не он, а кто-то за его спиной.

Котельников понял, что Беликов и на самом деле болен, и ему нужна медицинская помощь.

Другой офицер был плотного сложения, с красным, как после бани, лицом, недобрый взгляд посаженных под густые брови глаз и тонкие, как у злых людей, губы говорили о том, что пришёл он сюда не с открытым сердцем. Он не выпускал из рук карабин, видимо, спасаясь, что их могут накрыть здесь врасплох, часто подходил к окну и подозрительно осматривал прилегающий к дому подлесок.

Подпрапорщик был хилого сложения, и, как и Беликов, выглядел больным. Когда его позвали за стол, он отказался.

– Я лутше маненько полежу, – сказал он, и, постелив шинель на пол, свернулся на ней калачиком.

Вечером Беликов говорил Котельникову: «Поверьте, и вас ждут большие испытания. В любой революции проще всего взять власть в руки, труднее удержать её. Соратники, объединённые фанатическим стремлением к её захвату и опьянённые кровью и вседозволенностью, потом, как пауки в банке, будут рвать друг друга. Каждый будет видеть свои пути построения нового общества, каждый захочет своего высокого места в захваченной власти. Страна, если она ещё не развалилась, выйдет на новый виток кровавого столкновения. Вспомните французскую революцию, непримиримую и жестокую борьбу якобинцев и жирондистов после того, как был сброшен с престола король».

Говорил Беликов с большим трудом, он часто задыхался в кашле, в горле его хрипело так, что казалось, там скоро что-то оборвётся.

– Запомните, Котельников, – продолжал он, – и вас раздавит кровавый молох революции. Вы не из тех, кто берёт силой, вы интеллигент, и вам никто не оставит места в построенной на физическом насилии власти.

От напряжения, с которым говорил Беликов, на лице его выступили красные пятна, глаза горели, как у больного лихорадкой, но когда расходились, Котельников обратил внимание на то, что лицо его стало, как и раньше, серым, а глаза обрели выражение отрешённости человека, которому в жизни уже ничего не надо. Заметив, что Котельников внимательно смотрит на него, Беликов сказал: «Песня моя спета».

Ночью он часто вставал с кровати, подходил к окну и долго о чём-то думал, а утром, передавая Котельникову, свёрнутый в четвертушку лист бумаги, сказал: «Маме. В Тамбове она».

После этого он вышел из дома, а вскоре из прилегающего к нему подлеска раздался хлопок, больше похожий не на выстрел, а на треск обломившейся с дерева ветки.

– Хлюпик, туда ему и дорога, – заявил другой офицер, узнав, что Беликов застрелился.

Забрав на Эмтегее всё, что можно было унести с собой из еды, офицер и подпрапорщик скрылись в тайге. Вернувшийся из поездки Гриша бросился за ними. У одного из потухших костров он нашёл полуобглоданный труп подпрапорщика с простреленной грудью. Видимо, его обессиленного и не способного идти дальше пристрелил офицер.

Следы офицера терялись от стойбища к стойбищу. Уже пошли слухи, что в стойбищах он не только запасается едой, но и убивает тех, кто оказывает ему сопротивление. Слухи вскоре подтвердились. В одном из стойбищ он убил якута, пытавшегося не пустить его в свою юрту. Забрав у него всё, что годилось в пищу, и, изнасиловав его дочь, офицер скрылся в тайге. После этого к его поиску к Грише подключились якуты. Вскоре было установлено, что скрывается он в брошенном охотничьем зимовье. Его окружили и предложили сдаться. Видя, что сопротивление бесполезно, офицер застрелился.

Часть II

I

Уже давно закончилась гражданская война, бежали за границу Деникин и Юденич, убит Корнилов, расстрелян Колчак, с Дальнего Востока выдворены интервенты, страна, простившись с вождём революции Лениным, взяла курс на индустриализацию городов и коллективизацию деревень под руководством товарища Сталина. Не обошло это стороной и Эмтегей.

В этом году весна на Эмтегее была ранней. Уже в мае он вскрылся ото льда, за одну ночь позеленела лиственница, большими, чуть не в полнеба клиньями возвращались с юга гуси, громче кричало воронье в чозениевых рощах. В июне из далёкого Нагаево на Эмтегей прибыл отряд ленинградских геологов. Начальник его, очень подвижный и уже немолодой человек по фамилии Одинцов произвёл на всех приятное впечатление. О Котельникове он уже слышал и передал ему привет от ленинградских товарищей, знавших его ещё по совместной работе в подполье. Анну и Ирэткэну покори́л большим букетом

подснежников, с Гришей, в первый же день, соревновался в стрельбе по цели, а увидев карту Антона, вскричал: «Молодой человек, да вы же настоящий геолог!».

Вечером, когда все собрались за самоваром, Одинцов рассказал о том, что происходит на Колыме. Оказывается, в бухту Нагаево на зафрахтованном у французов судне «Генри Ривьер» ещё два года назад прибыла большая группа строителей. На берегу Магаданки строители возвели посёлок со школой-интернатом, больницей, магазином, пекарней и баней. С целью промышленного освоения Колымы уже организован трест «Дальстрой», руководителем которого назначен опытный хозяйственник и старый большевик Берзин. Из Нагаево вглубь Колымы прокладывается автотрасса, геологи, опережая её, находят богатые месторождения золота, вслед за ними открываются прииски.

– Поверьте, американская Аляска по золоту Колыме и в подмётки не годится, – уверенно говорил Одинцов. – По нашим прогнозам, золота здесь – лопатой гребти.

О том, какой будет Колыма в ближайшем будущем, он говорил с таким увлечением, что казалось не пройдёт и года, как вырастут здесь и большие города, и благоустроенные посёлки, дети будут ходить не только в общеобразовательные школы, но и в музыкальные, а взрослые посещать драматические театры.

Состоял отряд из пяти человек, выделялась среди них белокурая, с большими голубыми глазами и озорными веснушками на лице Ксюша. Видимо, в отряде она была избалована большим к себе вниманием, могла делать то, что другим не позволялось, а когда и ей не позволяли это, капризно надувала губы. Однако отходила она скоро. Добрый и весёлый нрав не позволял ей долго сердиться на товарищей. Она быстро сошлась с Ирэткэной. Они вместе готовили обеды и ужины, вместе убирались по хозяйству, а вечером, уединившись, делились своими женскими секретами. Гриша Ксюше сначала не понравился. Ей показалось, что он человек плоский и кроме своей вооруженной борьбы за советскую власть ничем не интересуются. А Грише и на самом деле в подъёме и становлении

советской власти ближе была не политическая и экономическая составляющие, а боевая. Да и видел-то он себя в будущем не на гражданской службе, а на военной. Из книги Карамзина «История государства российского», что дал ему Котельников, он вычитывал только события, связанные с военными действиями России, направленными против иноземцев. Ему интересно было читать о том, как русские били печенегов и половцев. В поражении русских войск в битве с монголо-татарами он искал причины этого. Когда читал о Куликовской битве, ему казалось, что и он в ней участвует, вместе с Донским расставляет в боевые порядки войска, укрепляет их фланги в арьергарды. В восстании Пугачёва Гриша искал причины, почему необученные военному искусству крестьяне били регулярные войска, в походе Ермака в Сибирь он пытался выяснить, каким образом Ермак с небольшим отрядом казаков покорил всё ханство Кучума.

После рассказа Гриши о том, как издевались над ним белогвардейцы в Оймяконе и чуть не забили насмерть, как потом с ревкомовцами он разделался с этими белогвардейцами и предателем якутом, у Ксюши, как у человека не очень дисциплинированного в своих суждениях, мнение о нём изменилось на обратное.

– Гриша, вы герой и, пожалуйста, не говорите мне, что это не так, – сказала она.

Одинцов предложил Антону идти с отрядом в качестве и проводника, и геолога. Антон рад бы согласиться с его предложением, но Ирэткэна была уже беременна, и он не хотел оставлять её одну в таком положении. Выручила Анна, она сказала, что не отойдёт от Ирэткэны ни на шаг, будет следить, чтобы она лишней раз не волновалась и не поднимала никаких тяжестей.

Работая с Одинцовым в отряде, Антон взял у него много интересного и полезного. Он научился, как правильно документировать естественные обнажения пород, какие отбирать пробы, где проходить каналы и бить закопуши, каким образом по составу пород определить условия их образования, а по ор-



ганическим остаткам – их возраст. Говорил ему Одинцов и о том, что геологами не становятся, а рождаются. Если природа дала тебе один ум, но обделила творческим вдохновением и беспокойным сердцем, ни книги, ни университетские кафедры уже не помогут.

Работа в отряде шла дружно и весело. Все понимали друг друга с полуслова, никому не приходило в голову показать себя и унижить другого, в трудных ситуациях никого не оставляли в беде, весёлый тон в отряде задавала Ксюша. Она никогда не унывала, смеялась так, как смеются беззаботные дети, её в шутку разыгрывали, пугали медведями и волками. Волков она не боялась, считала, что в одиночку они на человека не набрасываются, а стаями нападают только на оленей. Медведей она перестала бояться после того, как убедилась, что они, как малые дети, могут стать жертвой своего глупого любопытства.

На одном из привалов все увидели, как на другой стороне реки с обрыва медведь сбрасывает камни и с любопытством наблюдает, как они бултыхаются в воду. Потом он стал сбрасывать валёжины, а войдя в азарт, притащил на обрыв выворочен-

ное с корнем дерево. Оставив ствол между задними ногами, он сбросил его вниз комлем. Тут же кроной дерева, ударившей ему под зад, он и сам был сброшен с обрыва. Шлёпнувшись в воду, медведь выскочил из неё в таком испуге, словно его там укусили за задницу и, рявкнув, скрылся в прибрежном кустарнике. После этого случая, когда Ксюшу пугали медведями, она говорила: «Не говорите, пожалуйста, глупостей».

Вернулся отряд на Эмтегей поздней осенью. Зимовать и обрабатывать полученные в поле материалы геологи решили дома, в Ленинграде. Грише, готовившемуся к поступлению на курсы красных командиров, Ксюша оставила свой адрес и сказала, что если он не заедет к ней, то она его и за человека считать не будет.

II

По тому, как на Эмтегее стали часто останавливаться не только геологи, но и изыскатели, топографы, гидрологи и работники лесного хозяйства, было видно, что освоение Колымы начато с большим размахом и с расчётом на долгую перспективу. Изыскатели проводили инженерные работы под строительство новых дорог и посёлков, топографы составляли карты, гидрологи изучали режимы рек, работники лесного хозяйства искали участки с пригодными для строительства лесом. С одним из московских топографов Гриша передал Анне письмо. В нём он писал, что экзамены при поступлении на курсы красных командиров он сдал с одними отличными оценками, благодарил Антона и Котельникова за то, что обучили его арифметике и грамматике, мать Анну просил, чтобы она о нём не беспокоилась, здоровье у него хорошее, кормят на курсах до отвала, а у начальства он уже на первом счету. Его хвалят за дисциплинированность, крепкую физическую закалку и меткую стрельбу. На последнем стрельбище он заткнул за пояс и своего командира, перестреляв его на целых десять очков. Хорошо владеет он и шашкой, на коне, в галопе, не оставляет ни одной не срубленной на плацу лозы. Читая письмо, Анна плакала. За срубляющим лозы Гришей она видела его отца. Казалось, совсем

недавно у винокурни отца Парфёна он показывал ей, как надо владеть саблей. В его руках она со свистом резала воздух, под корень рубила молодые лиственницы. «Господи, сохрани мне сына», – шептала Анна. Ей казалось, что он, как и его отец, если надо, полезет на первую пулю. Ещё написал Гриша о том, что ездил в Ленинград и был там у Ксюши. Она его затаскала по Ленинграду, говорила, что Ленинград лучше всяких Парижей. У Медного всадника читала ему стихи Пушкина и утверждала, что все эти Есенины и Маяковские ему и в подмётки не годятся. В Исаакиевском соборе показывала маятник Фуко, по которому получалось, что Земля и на самом деле вращается вокруг своей оси. После окончания Гришиных курсов они решили пожениться. Провожая Гришу, она сказала, что, если он не окончит курсы на «отлично», не видать ему свадьбы, как своего носа.

Однажды приехал на Эмтегей помощник директора «Дальстроя» по культурно-воспитательной работе. Побеседовав с Котельниковым, он предложил ему в Магадане работу заместителя редактора одной из местных газет. Котельников не отказался и попросил Анну, чтобы она поехала с ним, Анна согласилась. Антона с Ирэткэной на Эмтегее уже не было. Со своим сыном они уехали на прииск Дальний, Антон там хотя и ходил в главных геологах, но жил в бараке.

Незадолго до отъезда Котельникова и Анны в Магадан на Эмтегее появился Митя. Золота они с Трофимом тогда намыли мало, и вернулся он на свою Вятку ни с чем. Несмотря на это, жена нарожала ему кучу детей, жить стало трудно, а когда к ним пришла коллективизация, хоть лезь в петлю.

– Всех в колхоз загрыбли, что б яго тараканы съели, – жаловался Митя, – а там и лянтю, и табе – всё поровну. Утром жижка, в обед отрыжка, а на ужин и солома ядома. Ня хошь, в мялицию тебе, а тама если ня к стенке, то на бясплатные работы, где Макарка и тляят ня пас.

Когда Мите от колхозной жизни стало неведомо, он завербовался на Колыму. Теперь он у Антона работает промывальщиком.

Перед отъездом в Магадан Котельников с Анной решили привести в порядок кладбище. Помогать им взялся Митя.

– Кто ня любит ходить за могилками, тот на том свете будет ходить в язгнании, – сказал он.

На могилках мужа Анны, Гриши и Гермогена заменили оградки и поставили новые надгробия, сменили крест и на могиле отца Парфёна, привели в порядок могилы братьев Елагиных. Закончив убирать могилы, выпили голубичной настойки и помянули всех добрым словом. Над кладбищем светило солнце, оно было по-прежнему холодным, и казалось, не плывёт по небу, а стоит на месте. С тополей, окружавших кладбище, падал жёлтый лист, таёжные дали утопали в лёгкой, как ситец, дымке, в ярко-красной воронике горели сопки, было так тихо, что казалось, крикни, и крик твой покажется выстрелом.

Вскоре Анна ушла на могилу мужа, а Митя, сказав, что «мяртвацы все одянаковы», пошёл убирать могилу Щербатого, о котором слышал, что был он человеком плохим, перед смертью своей плевал на крест отца Парфёна. Котельников остался один. Чувство одиночества и тупой безысходности вдруг охватило его. Здесь, на кладбище, он, кажется, впервые понял, что у него, уже старого человека, нет своего дома, нет ни родных, кому бы он мог и в радости, и в горе открываться сердцем, поделиться удачей, выплакать своё горе, взять его на себя у другого. Нет у него и могил, на которых бы мог помянуть добрым словом тех, кто в них покоится. Всё отняла революция, глухие тюрьмы и далёкие ссылки. Мать он помнит плохо. Из детства сохранились о ней отрывочные воспоминания. Вот он, замороженный открывающимся перед ним миром ярких красок и нежных звуков, стоит в саду, над ним голубое небо и яркое солнце, у открытого окна дома сидит мать, на ней белая, в синий цветочек кофта.

– Мама, почему солнце красное? – спрашивает он.

– Потому что оно горячее, – ласково улыбаясь, отвечает она.

– А почему оно горячее? – идёт он дальше.

– А на нём божьи ангелы ставят свечи, – отвечает мать и зовёт его обедать.

Уже охваченный борьбой за революционное преобразование России, помнит Котельников, как мать провожала его в один из сибирских этапов. В комнате, где все прощались со своими родными, было душно. Кто-то, всхлипывая, как ребёнок, плакал в углу. Группа молодых людей, подбадривая уходящего по этапу сверстника, хлопала его по плечу, говорила ему добрые слова, но он их не понимал, лицо его было растерянным, глаза бегали, как у пойманной в клетку мыши. Рядом с Котельниковым обросший в густую бороду мужик в купеческой поддёвке кричал своему сыну: «Говорил тебе, мерзавец, не слушай никого, сиди дома! Не послушал отца, вот и расхлёбывай, корми вшей на нарах».

А сын, пытаясь успокоить его, просил: «Тянька, перестань! Людей стыдно».

Но отец успокоиться не мог. Когда все стали прощаться, он сунул под нос сыну дулю и сказал: «Вот тебе на прощание родительское благословение».

Мать Котельникова принесла пирогов с яйцами и луком и тёплый шарф. Она старалась не плакать, но от этого ей было ещё хуже. У неё на скривившемся в жалкую гримасу лице дергались губы.

– Мама, ты поплачь, – просил её Котельников.

А она, словно совсем потерявшая рассудок, трясущимися руками поправляла накинутый ему на шею шарф и всё повторяла: «Ты уж, сыночек, не простывай. В Сибири так холодно».

Отца Котельников не помнил. Он погиб в Русско-Турецкую войну при осаде Плевны.

III

Прииск Дальний только вставал на ноги. Люди жили в сколоченных на скорую руку бараках и палатках, но золото на полигонах уже брали. Основной рабочей силой были заключённые. Недалеко от посёлка, на голой сопке, для них был построен лагерь, состоящий из пяти длинных, как пеналы, бараков и помещения для охраны и начальства. Разделял их плац, над которым возвышалась деревянная вышка, откуда проводили утрен-

ние разводы и вечерние поверки. Когда с тачками и кайлами заключённых выводили за ворота, лаяли и рвались с поводков собаки, материла и била прикладами отстававших от строя охрана, казалось, выводят за ворота не простых заключённых, а особо опасных, приговорённых к пожизненным каторжным работам преступников.

В отделе Антона было два геолога и восемь промывальщиков из расконвойки. Один из геологов, имеющий специальное геологическое образование, считал, что Антон со своим самостоятельным знанием геологии россыпей в главные геологи не годится. Лицо геолога было вытянуто в ладошку, маленькие, глубоко посаженные глаза, бегали, как у испуганной мышки. Был он суетлив, как еврей на одесской толкучке, болтлив, как уличная баба, и труслив, как заяц, когда его прижимали к стенке. Звали его Асиком. Сразу, как только открылся прииск, Асик стал доказывать, что полигоны для добычи золота Антоном выбираются неправильно.

– Иван Захарыч, – говорил он начальнику прииска, – вы посмотрите: в Трубном Решетов загнал прииск на знаковое содержание, а на Крутом скрыл целое местоположение.

Иван Захарыч Крутов, в прошлом герой гражданской войны, в золоте ничего не понимал, но в том, как ни за что можно посадить человека, хорошо разбирался.

– Брось ты это, Асик, – говорил он, – Решетов – опытный геолог, он здесь бил шурфы, когда нас на Колыме не было. И зачем это «скрыл»? – морщился он. – За сокрытие месторождений, сам знаешь, куда прячут.

Полный и уже, похоже, нездоровый начальник прииска Иван Захарович хотел бы Асика из своего кабинета погнать, но не делал этого, потому что догадывался, что у местного УНКВД он ходит в стукачах. Был Иван Захарыч холостяком, жил в бараке рядом с Антоном и часто приходил к нему в гости. Когда Ирэткэна разливала за столом чай, он, как когда-то отец Парфён Сардану, просил её: «А мне бы, милая, что-нибудь покрепче».

Выпив, он сильно распускал язык, ругал то, что ругать было

опасно. «Тебя за что, спрашиваю его, – говорил Иван Захарыч. А он: «Пашаничку куркам с тока снёс». Спрашиваю другого: «А тебя за что?» Отвечает: «Не то сказал». И что же ты сказал? «Сказал, что товарищ Сталин наш родной отец и за нас он положит голову». «А мне: насекомое ты Перфильев. Если товарищ Сталин за всех перфильевых будет ложить голову, то никаких голов не хватит».

Антону он часто говорил: «Ты бойся своего Асика. Это дерьмо в своих доносах и через меня может прыгнуть».

Видимо, Иван Захарыч распускал язык не только у Антона, потому что вскоре тёмной ночью увёз его воронок в неизвестном направлении. Вместо него начальником прииска был назначен Лаврентий Николаевич Зубов. Он, как и Иван Захарыч, в золоте ничего не понимал, в гражданскую командовал бронепоездом, после неё ходил в крупных армейских начальниках. На прииске потребовал беспрекословного исполнения своих приказов, а когда разобрался в том, что на каждого горного рабочего в конторе приходится по служащему, сократил её наполовину. Пугал он подчинённых и внешним видом. У него были крупные, как у быка, надбровья, толстый нос и квадратный подбородок, от виска до него проходил шрам от сабельного удара.

Вскоре к нему зачастил Асик, а через неделю он вызвал в свой кабинет Антона.

– Почему нет золота на Трубном? – в лоб спросил он.

– Золото там на плотике, его мы ещё не вскрыли, – ответил Антон.

– Мне надо золото не на плотике, а сегодня, – обрезал его начальник прииска, и пригрозил, – не будет золота, отдам под суд.

– Золото будет через месяц, – сказал Антон.

– Мне надо не через месяц, а через неделю, – закончил разговор с Антоном начальник прииска.

Вечером Антон пошёл к начальнику участка Трубного Горбатову. Горбатов ещё на Алдане намыл ни один пуд золота и в своём деле, как говорят, съел не одну собаку. Передав разговор

с начальником прииска, Антон сказал: «Выручай. Не выручишь, мне зона».

– Но я-то чем могу помочь? – не понял его Горбатов.

Антон объяснил, как это можно сделать. Нужно заключённых, раскинутых по всему полигону, на вскрытии торффов, бросить на один, небольшой по размеру участок, где плотика осталось немного. Через неделю там пойдёт золото, и начальник прииска успокоится.

– Ну, ты даёшь! – вскричал Горбатов. – Да за такое самоуправство он с меня голову снимет.

– Да он ничего и знать не будет, – заверил его Антон.

Надеясь на это, Горбатов согласился. Через неделю на Трубном пошло золото. Когда Антон доложил об этом начальнику прииска, в ответ он пробурчал: «Ну, то-то», – и уже пряча усмешку на нарочито строгом лице, добавил: «А дружку своему Горбатову передай, за самоуправство – выговор ему».

– Бейте и меня, Лаврентий Николаевич, и я виноват, не вовремя сосредоточил силы там, где надо, – сказал Антон.



– Ну, тебя-то и без меня ударят, – заверил его Лаврентий Николаевич.

IV

Котельников с Анной добрались до Магадана поздней осенью, когда по ночам уже прихватывали морозы, а днём и в полуденном стоянии, солнце плохо грело. По вечерам, уходя в закат, оно расплывалось в огромный, по-лунному холодный шар, а по утрам, словно омывшись утренней росой, было похоже на большой, до блеска начищенный медный таз.

Город был на том подъёме, когда облик его менялся с каждым днём. В Нагаеве на месте палаток, как грибы, росли глинобитки, в центре возводились каменные двухэтажки, уже был построен драмтеатр, открыт парк культуры и отдыха, в верховья Магаданки за строевым лесом бегал паровоз-кукушка «Красный богатырь». На окраинах города возводились промышленные предприятия, за ними, на пустырях, огораживались высокими заборами с колючей проволокой и словно выстреленными в небо сторожевыми вышками лагерные зоны. Ночами там ярко горели прожектора, по утрам в охрипшей разноголосице шли разводы, лаяли собаки.

Город пополнялся не только заключенными. К уже построенному морскому причалу приставали пароходы с комсомольскими наборами.

Молодые люди торопились в тайгу. Им казалось, что золото там лежит под ногами, и почему бы его не брать, если и в коротком колымском лете много солнечных дней, в реках навалом рыбы, в распадках стадами ходят олени, а от запаха кедровой смолы и багульника приятно, как в наркотическом сне, кружится голова, и уже кажется, что ты не на суровом Севере, а в том краю, где всё хорошо устроено, всё для тебя и твоего светлого будущего. «Колыма, ты Колыма, чудная планета», – пели они у костров под свои звонкие гитары.

Но приходила суровая зима, надолго пряталось за горизонтом солнце, от трескучих морозов и ледяного ветра не спасали наспех построенные бараки, и часть комсомольских наборов

бежала обратно, в Магадан. Это были слабые духом или случайно попавшие на Крайний Север люди. Обросшие, грязные и оборванные, они прятались по нагаевским притонам, пили водку и хрипло, уже без гитар, пели: «Будь проклята ты, Колыма, что названа чудной планетой». Те, кто нашли своё место в воровских шайках, напившись, махали ножичками и лихо отплясывали чечётки. «Гоп со смыком, это буду я! Воровать – профессия моя!» – пели они.

Совсем другая жизнь шла в Магадане, вне этих притонов. На промышленных предприятиях монтировали цеха, собирали трактора и буровые установки, резали на арматуру сталь, ковали железо на полозья к тракторным саням. Каждая сдача промышленного объекта в эксплуатацию была праздником. На митингах, овеянных красными знамёнами, и зовущими ещё дальше транспарантами, играл духовой оркестр, партийцы произносили громкие речи, передовикам производства раздавали награды, после митингов шли концерты, на которых читали Маяковского, пели агитки Демьяна Бедного, плясали краковяк и барыню, показывали полные пролетарского оптимизма спектакли. Люди верили, что досрочной сдачей объекта в эксплуатацию они приблизили коммунизм, в котором будет хорошо, что лучшего уже никто и не захочет. Всем казалось, что если дела пойдут и дальше так хорошо, то и до коммунизма не дальше, как рукой подать. Никто не думал, а что же делать в этом коммунизме с огромной армией заключённых, где сейчас пухнут и умирают от голода, кормят клопов и вшей на холодных нарах, выносят по утрам параша с кровавыми поносами, падают от бессилия днём на работе, как скот, под лай собак и матерщину охраны сгоняются вечером в бараки.

V

Редакция газеты, в которой Котельников приступил к работе, размещалась в одной комнате. Рабочие столы, сколоченные из сырого тёса, размещались вдоль стен, в центре стояла печь, смонтированная из железной бочки, зимой она топилась круглосуточно и когда накалялась докрасна, открывали на улицу

дверь. Топил её присылаемый из расконвойки дед Егор, посаженный в лагерь за участие в восстании забайкальских казаков во время коллективизации. А прозван он был дедом не столько за возраст, сколько за длинную, как у кержака, бороду и стариковскую словоохотливость.

Летом, когда печь топить было не надо, он убирал помещение редакции, варил на примусе чай и ремонтировал ломающуюся почти каждый день пишущуюся машинку. Сидела за ней Зоя, у которой, несмотря на молодость, было по-старушечьи сморщенное лицо и, как у стельной коровы, вялые глаза. Корреспонденты газеты, народ молодой и бойкий, больше находились в разъездах, а когда собирались в редакции, громко спорили о новых направлениях в газетной публицистике и тайно от редактора пили водку.

Редактором газеты был бывший красный партизан Василий Игнатьевич. Он уже перешагнул возраст, который называют зрелым. С сотрудниками редакции был и по-детски добродушен, и по-стариковски сварлив. В хорошем настроении с его круглого, с большой подсолнух, лица не сходило выражение по-отцовски тёплого отношения к ним, в плохом он цеплялся за каждую мелочь, ни за что делал выговоры, а когда совсем выходил из себя, грозил уволить. Котельникову Василий Игнатьевич поручил литературную обработку материала, потому что сам он в ней ничего не понимал.

– Моё дело – хозяйство: достань бумагу, договорись с типографией, вовремя запусти газету и ко времени её выпусти, – определил он своё место.

Представляя корреспондентов, сказал: «Не народ, а шельмы. Всё норвят по-своему. Не накинешь на них узду, и тебе свињью подложат».

И рассказал, как подложил ему свињью корреспондент Васькин. В заметке: «На верном пути» одного из высоких начальников города он назвал боевым конём, за что начальник обиделся, а ему, Василию Игнатьевичу, по партийной линии объявили выговор.

При близком знакомстве с материалами, поступающими от

корреспондентов, Котельников обнаружил, что молодые люди склонны к сногшибательным метафорам и большим крайностям. У того же Васькина помидоры в совхозе «Дукча» оказались с большой рабочей кулак, а его товарищ по перу Горобец в заметке «На краю пропасти» предупредил, что если средняя школа №12 по ул. Пролетарской не будет вовремя сдана в эксплуатацию, то город в своём невежестве опустится до уровня гвинейских папуасов.

Выделялся среди корреспондентов окончивший московские курсы журналистов Генрих Майский. Он отвечал за освещение партийной жизни города, имел особый на неё нюх, раз в день мог ходить в горкомовскую столовую на бесплатные обеды. Статьи его были выдержаны в армейском стиле и в исключаящем кривотолки содержании. Это не вязалось с его несолидным видом и лёгким поведением. Плоский и узкозатый, с вытянутым по-кроличьи лицом, он никогда не сидел за своим столом: у Зоино пошло шутил, с Василием Игнатъевичем в нарочито серьёзном тоне поднимал большие политические вопросы, обсуждать которые тот боялся, в закутке, где пили чай, травил анекдоты, часто разыгрывал деда Егора.

– Дед, – строго спрашивал он, – когда в мировой бубен ударим?

– В какой бубен? – не понимал его дед Егор.

– В бубен мировой революции, – уточнял Генрих.

– А надо? – сомневался дед Егор. – Мне и одной хватило.

VI

После окончания курсов Гришу направили на Дальний Восток охранять границу с Китаем. Ксюша поехала с ним. Как жене командира Красной Армии ей это разрешили. Погранза-става, расположенная на берегу реки Усури, состояла из взвода красноармейцев, двух отделенных и учёной собаки. Лейтенант, передавший взвод в Гришины руки, сказал: «Скука здесь, Решетов, зелёная, ни провокаций, ни контрабанды, хоть в наряд никого не посылай».

Как всякая армейская жизнь, и на заставе она не отличалась

особым разнообразием. Дни, размеренные по часам и минутам, уходили в недели, недели – в месяцы, и казалось, что этому уже не будет конца, потому что и утренние подъёмы, и разводы по постам, и дозоры, и учения по строевой подготовке, и стрельба по цели, и отбой ко сну, всё это определено уставами, нарушать которые ни рядовой боец, ни высокий командир не имеют права. Разнообразить жизнь заставы взялась Ксюша. Начала она с обустройства красного уголка. В нём, кроме воинских уставов и плаката, на котором бдительный работник НКВД призывал на борьбу с внутренними пособниками империализма, ничего не было. «Не пойдёт», – решила Ксюша и стала собираться во Владивосток за нужной для красноармейцев литературой. Она была твёрдо уверена в том, что только грамотный и политически подкованный красноармеец может осознанно держать в руках винтовку. Во Владивостоке её принял полковой комиссар, и она его прямо спросила: «Почему вся Красная Армия держится на сознании, а застава Решетова на одних дозорах?».

И хотя у комиссара были толстые усы, Ксюша заметила, как после её вопроса он спрятал в них улыбку. Вернулась она на заставу с нужной литературой. Так как Ксюша была уверена, что коммунизм можно построить и в отдельно взятой стране, она много привезла литературы по коммунистическому воспитанию советского человека. Не очень верил в этот коммунизм отделённый Красношапка.

– Що, и грошив не будет? – спрашивал он.

– Зачем деньги, – отвечала ему Ксюша, – при коммунизме будет всё бесплатно.

– Що вы говорите? Бесплатно? – удивлялся Красношапка.

– А як я на пэчи сижу, ни хрэна не роблю, и мэни бесплатно?

– Товарищ Красношапка, при коммунизме все будут работать, – строго говорила Ксюша.

– А-а, як у лагере! – догадывался Красношапка. – Все роблют, и яда без грошив.

– Ни в коем случае! – начинала сердиться Ксюша. – Работать будут добровольно, не из-под палки, а после работы иди в магазин и бери, что хочешь.

– От мий крѣстный зрадуется! – смеялся Красношاپка. – Да вин зараз все магазины втащит. – И укоризненно качая головой, делал вывод: «Ни-и, Ксения Ивановна, що-то вы тут не доробыли».

А Гриша всё жаждал боевых схваток на границе, но их не было, и казалось, уже никогда не будет. Правда, однажды отделѣнный Красношاپка привѣл к нему китаец, но тот сдался пограничникам без сопротивления. Похоже, по-русски он знал не более двух слов. Когда его накормили кашей, он низко поклонился и сказал: «Сыпасибо», а когда дали чаю, прихлѣбывая его, он повторял: «Карасѣ, карасѣ». Что это за китаец и зачем он перешел границу, никто не знал.

– Хлопци, – вдруг вскричал Красношاپка, – да то ж баба!

И сорвал с китаец кепку. Под ней оказалась свѣрнутая в кольцо женская коса. Когда Красношاپку спросили, как догадался, что это баба, он ответил: «Да у мэни нюх на баб, як у собаки на пэрэпэлку».

А китаянка уже показывала красноармейцам, зачем перешла границу. На заднице она прыгала по полу, а потом по-лягушачьи стала квакать.

– Хлопци, – опять первым догадался Красношاپка, – да то ж она к нам за лягухами. Воны у них – за перший зорт. Борщи з них варять».

«Тьфу ты!» – сплюнул Гриша, и велел отправить китаянку в штаб погранполка.

Сдался без сопротивления и другой нарушитель границы. Им оказался уже немолодой мужчина с короткой, в клинышек, бородкой. Поношенный офицерского образца френч и подтянутая осанка говорили о том, что он человек военный. Оказалось, что и на самом деле он состоял офицером в белых войсках, разгромленных в Приморье армией Уборевича. Бежал он в Китай, много лет жил в Харбине, но тоска по семье, оставшейся во Владивостоке, побудила его вернуться на родину. С семьей он надеялся встретиться, добравшись до Владивостока непойманным.

– Значит, не судьба, – тяжело вздохнув, сказал он, и попросил

бумаги и ручку. Перед отправкой в погранполк, подавая Грише сложенную в четвертушку бумагу, он сказал: – Лейтенант, ради всего святого, предайте это жене. Улица Светланская, бывший дом купца Игнатьева.

Уже перед отправкой в штаб полка он спросил Гришу: «Меня расстреляют?».

– Если руки не в крови, не расстреляют, – ответил Гриша.

В свободное время Гриша с Ксюшей ходили в лес. Летом Ксюша собирала цветы, а Гриша искал корень женьшеня. Потом они шли на реку, искупавшись в ней, загорали. Над ними стояло высокое и прозрачное, как стекло, небо, солнце казалось похожим на большой, снятый с огорода цветущий подсолнух, мягко накатывала на берег волна, в расположенном за спиной кленовом подлеске, прыгая с ветки на ветку, ловили мух оляпки и пели иволги. Все утопало в зелени, запах смородины и прелого прошлогоднего опада приятно кружил голову. И казалось, что всюду, и в других, далёких отсюда краях, такое же голубое небо и яркое, как цветущий подсолнух, солнце, в зелёных подлесках ловят мух и поют оляпки и иволги, пахнет смородиной и прелым опадом, и поэтому не верилось, что совсем рядом, за рекой Уссури, в Китае, взрывают землю снаряды, рушатся блиндажи и доты, идут друг на друга полки и батальоны, проливается кровь и гибнут люди. Осенью, когда всё утопало в ярком многоцветье, Гриша с Ксюшей собирали в лесу грибы и ягоды.

Один раз они встретились с тигром. Сытый и, видимо, ещё непуганный человеком, увидев их, он, как после долгого сна, лениво зевнул и, не торопясь, удалился в лес, а Ксюша, крепко ухватив Гришу за руку, прошептала: «А я его, ну вот ни-сколечки не испугалась!». С приходом зимы Гриша с Ксюшей вставали на лыжи и катались с горок. Горки были высокими, и при спуске с них от страха у Ксюши захватывало дыхание, но и в этом она не признавалась Грише. Скатившись с горки, она предлагала ему идти на другую, более крутую.

Пройдут годы, обожжёт землю война с фашистами, прокатится по стране вторая волна политических репрессий, всё это

не обойдёт стороной Гришу с Ксюшей, и у них будут слёзы и горе, и долгая, чуть не на всю жизнь разлука, но ничто не сотрёт в их памяти светлых дней, оставленных на Уссури.

VII

Пришла осень, ударили морозы, а прииск Дальний план по добыче золота ещё не выполнил. Все, и заключенные, и вольнонаёмные, были брошены на полигоны. Заключённые взламывали мерзлоту ломами и клиньями и промывали золото на бутарах, вольнонаёмные, оттаивая мерзлоту на котлах, мыли золото лотками. Со стороны казалось, что здесь не моют золото, а добывают бутовый камень, а к ночи, когда костры разгорались ярче, и дым низко стелился над землёй, уже представлялось, что на полигоне не заключённые и не вольнонаёмные, а пришельцы с чужой земли, после трудного дня они устраиваются на ночлег у костров. Когда доносился звон от удара по железу, а за ним следовал такой же с другой стороны полигона, казалось, это подают друг другу сигналы выставленные ими караулы.

Антон сутками не уходил с полигонов. Он расставлял людей по участкам, учил новичков, как надо мыть золото лотками, вёл предварительный учёт того, что уже намыто. Лицо его стало грубым, как наждачная бумага, потрескались руки, он охрип, а от грохота бутар, кажется, оглох. Домой он приходил на дватри часа, выпивал водки и, вздремнув, снова бежал на полигоны. Не покидал полигоны и начальник прииска. Небритый, с воспалёнными от бессонницы и простуды глазами, он был похож на бродягу, только что вышедшего из тайги. Встретившись с Антоном, на ходу бросил: «Решетов, зайди вечером».

В кабинете начальника прииска было холодно, так как печь к его появлению здесь растопить не успели. Достав из сейфа бутылку спирта, он предложил: «Пей, теплее будет».

Выпив и сам, он подошёл к окну, долго смотрел в него, а вернувшись за стол, грубо сказал: «Что делать будем, геолог? За срыв плана меня под суд, тебя – в промывальщики».

– Лаврентий Николаевич, есть у меня участок с пиковым зо-

лотом, но взять его до наступления больших холодов не успе- ем, – ответил Антон.

Узнав, что это за участок и сколько там золота, начальник прииска тут же по телефону договорился с начальником лагеря об организации на нём круглосуточной работы.

– Тебе, Решетов, с участка – ни на шаг. Следи, что и как, и докладывай мне, – приказал начальник прииска, а когда Решетов был уже у выхода из кабинета, неожиданно спросил: «А где твой Асик?».

– Болеет. Говорит, простыл, – ответил Антон.

– Передай, не выйдет на работу, кину на бутару, – сказал начальник прииска и вслед за Решетовым засобирился на полигоны.

На пятый день работы на участке с богатым золотом термометр опустился за минус тридцать, подул ветер. Всё ещё в летних фуфайках и ботинках заключённые не знали, куда от холода спрятаться. Мучил заключённых не только холод, но и голод. По установленным сверху срокам их уже перевели на зимние нормы питания, которые были ниже летних, потому что зимой золото на полигонах на мыли. Слабые заключённые этого не выдерживали.

Антон видел, как, выбившись из сил, они падали, но их никто не поднимал, потому что отогревать было некогда, от костров заключённых гнала охрана. Антон, не отходявший от бутары, уже слышал, как заключённые посыпали в адрес своего начальства проклятия. Выделялся среди них высокий и ещё крепко сложенный немолодой мужчина с длинной, как у попа, бородой. Он подбадривал совсем упавших духом, помогал докатить тачку до бутары слабым. Антон слышал, что на свободе он ходил у эсеров в боевиках. До революции бросал бомбы в высоких царских чиновников, после неё покушался на большевиков.

Бунт среди заключённых вспыхнул на шестой день. Случилось это так. Похожий на подростка заключённый, выронив из рук тачку, упал на неё лицом. Эсер, взяв его под руку, повёл к костру. На него набросился охранник.

– Прочь с дороги, дерьмо! – крикнул эсер охраннику и оттолкнул его в сторону.

– Я дерьмо?! – вскочил охранник и, вскинув винтовку, выстрелил.

Попал он не в эсера, а в заключённого, похожего на подростка.

Сражённый насмерть заключённый мешком свалился на землю, а эсер, кинувшись на охранника, вырвал у него винтовку и прикладом ударил его по голове. Окружавшая полигон охрана открыла стрельбу. Ничем не защищённые заключённые стали укрываться за своими тачками, а двое из них, с кайлами в руках, бросились на охрану. Их расстреляли в упор. А эсер с отобранной у охранника винтовкой уже был за бутарой.

– Держись, геолог, – крикнул он прятавшемуся за ней Антону, – умирать, так с музыкой!

И открыл огонь по охране. Глаза у него горели, как у зверя перед смертельной схваткой, но страха на лице не было, наоборот, казалось, делает он своё дело с тем азартом, какой приходит к охотникам во время отстрела волков.

На следующий день из Магадана на прииск прибыла комиссия. Она подсчитала потери: среди заключённых было девять человек убито, двенадцать ранено, среди охраны убито трое, один получил ранение. Началось следствие. Через день вызвали на допрос Антона. Допрашивал военный. Короткая стрижка, чисто выбритое лицо, словно с иголки гимнастёрка и блестящая пряжками португеза с жёлтой кобурой на ремне говорили о том, что человек он аккуратный и поэтому на допросе ничего не упустит.

– Ну и как, запираяться будем или всё начистоту? – встретил он вопросом Антона.

– Скрывать мне нечего, – ответил Антон.

– Так-так, – протянул следователь, – а как же с участием в бунте? Ведь вас накрыли за бутарой с главным его зачинщиком. И он уже во многом, что и вас касается, нам признался.

– Вызывайте его, – сказал Антон, – вместе и разберёмся.

За два дня допросов следователь понял, что пришить Анто-

ну участие в бунте он не сможет. Тогда он перешёл на другое дело. Достав на одном из допросов из стола бумагу, он подал её Антону и сказал: «Познакомьтесь. Надеюсь, уж от этого, что тут написано, вы отпираться не станете».

Писал Асик. Донесение его было длинным, в конце его он писал: «Мои неоднократные предупреждения А. Н. Решетову и бывшему начальнику прииска И. З. Крутову о том, что полигоны для промывки золота выбираются неправильно, ни к чему не привели. А. Н. Решетов мной пренебрегал, а И.З. Крутов, во всём потворствуя ему, только и делал, что пил с ним водку и ругал советскую власть. Похоже, преступные взгляды на советскую власть разделял с ним А. Н. Решетов, потому что И.З. Крутов часто бывал у него дома и уходил оттуда всегда пьяным. Потворствует А. Н. Решетову и нынешний начальник прииска Л. Н. Зубов. Когда настойчиво, как это подобает коммунисту, я стал доказывать, что полигоны опять выбраны неправильно, на меня открылось гонение. Однажды, больного, с высокой температурой, они выгнали меня на полигон мыть лотки на морозе золото. Предупреждаю, – заканчивал донос Асик, – если вы не уберёте с должности главного геолога прииска А. Н. Решетова, кстати, не имеющего никакого геологического образования, он заведёт прииск в яму».

Приказом по «Дальстрою» начальнику прииска Зубову объявили строгий выговор, Решетова перевели в промывальщики, главным геологом прииска назначили Асика. Начальника лагеря понизили в воинском звании, а заключённых, которых посчитали за зачинщиков бунта, расстреляли. Трупы их, в наказание другим, сложили у ворот лагеря, и лежали они там, пока грызуны не поели им лица. Говорят, что эсер, когда его повели на расстрел, бросился на охрану. Его скрутили и связали за спиной руки. Перед тем, как получить пулю, он крикнул: «Будьте прокляты!».

VIII

Знакомясь, с письмами, поступающими в редакцию газеты от читателей, Котельников убедился, что на смену старому, из-

дёрганному гражданской войной и НЭПом поколению идёт новое, которому будущее кажется таким светлым, что ради него можно поступиться настоящим, пожить в палатках, без остатка отдать себя выполнению государственного плана.

«Отчего так, – думал Котельников. – От того ли, что взятый партией курс на строительство коммунизма и на самом деле не утопия, или потому, что невысокому по уровню образованию народу можно вбить в голову, что угодно?»

А то, что уровень образования народа всё ещё невысокий, по поступающей в редакцию корреспонденции не заметить было невозможно. Особенно страдал русский язык. Один из читателей, предлагая опубликовать в газете свою критическую заметку о тех, кто на его прииске мешает честно жить и по-настоящему работать, писал: «А они всё идут по-своему, продолжают продлевать свои тёмные делишки, проливают чужие слёзы, которых и так много пролито благодаря бывшим капиталистам и их прихвостням».

Другой читатель, критикуя начальника прииска, писал: «Раскормленной рукой зазнавшегося пьяницы вся родня его расставлена по тёплым местам, от которых государство теряет одни убытки». Конечно, выправить всё это с нормами русского языка Котельникову особого труда не составляло. Хуже было со стихами. Переделать их, значит написать новые. А их в редакцию поступало немало. Особенно отличался А. Крутик, подписывающий свои стихи с обязательной приставкой к фамилии «рабочий». Все стихи его были патриотического содержания и хлёсткие по форме. В последнем писал:

«Коммунист рабочий

Знает сила в чём,

В нём любовь к работе

Бьёт живым ключом.

Он не знает наций,

Хлещет чёрных сук,

Для организаций

Отдаёт досуг.

Получив это стихотворение, Котельников решил пригласить

рабочего А. Крутика на собеседование. Им оказался крепко сложенный молодой человек с бьющим в упор взглядом, широким лбом и короткой, как у боксёров, причёской. С критическими замечаниями он не согласился, а когда Котельников сказал, что без исправлений стихотворение не будет опубликовано, он, криво усмехнувшись, бросил: «Ну, это мы ещё посмотрим!».

На следующий день в редакцию приехала похожая на красногвардейку девица. На ней были перетянутая широким ремнём гимнастёрка и хромовые сапоги, на остром, как гвоздь, носу сидели очки в железной оправе.

– Секретарь комитета комсомола Оськина, – представилась она и сразу перешла к делу. Сдвинув к переносице брови, сказала: «На вас, товарищ Котельников, поступила жалоба. Писал жалобу Крутик».

– Стихи его не приняты, потому что они безграмотны и далеки от элементарных требований к поэтическому слову, – сказал Котельников.

– В них есть главное – пролетарский оптимизм, – обрезала его Оськина. – А что касается слова, рабочий класс Крутика поймёт, – категорически заявила она.

– Его стихи ещё и аполитичны, – заметил Котельников. – Государство наше многонациональное, и в основе его политики лежит укрепление национальных связей, а у Крутика: «Он не знает наций, хлещет чёрный сук».

– Ну, это уже демагогия! Крутик имел в виду буржуазную нацию, – не согласилась с ним Оськина. Уходя она спросила: «Значит, вы категорически не согласны публиковать стихи Крутика?»

– Да, – ответил ей Котельников.

– Ну, это мы ещё посмотрим! – как и Крутик, бросила Оськина и, хлопнув дверью, вышла из редакции.

Уже через день Котельникова вызвали в горком партии. Принял его заведующий отделом пропаганды и агитации товарищ Дудин. По деревянной, вытянутой по-армейски осанке и тяжёлому, как у быка, взгляду было видно, что разговаривать он долго не будет.

– Почему не публикуете стихи Крутика? – строго спросил он.

Ответа Котельникова Дудин не дослушал.

– Стихи опубликовать, доложить мне об этом завтра, – приказал он.

А когда Котельников собрался уходить, он спросил: «А почему вы не в партии?».

– Я был членом РСДРП, – ответил Котельников.

– Так-так, – побарабанил по столу пальцами заведующий отделом. – Хорошо, идите.

Редактор газеты Василий Игнатьевич уже успел за что-то дать разгон сотрудникам, обещал всех до одного уволить, а увидев вернувшегося из горкома Котельникова, набросился на него: «Ну, спасибо! Ну, уважил старика! – вскричал он. – Думал один Васькин мне свиней подкладывает, ан нет, и другие нашлись! Ну, вот что, – успокоился Василий Игнатьевич, – не хочешь, чтобы посадили, завтра же этого Крутика в газету».

– Ой, паря, посодют тебя, обязательно посодют, – продолжил разговор дед Егор, когда Василий Игнатьевич вышел из редакции. – Говорят новые репрессии идут. Так ты вот что, – посоветовал он Котельникову, – стихи-то этой гниды примай, а гумага – она всё стерпит.

В разговор вмешался Генрих Майский.

– А вы предисловие напишите, – предложил он Котельникову. – Поэт он, напишите, пролетарский, а у пролетариев, как известно, главное, не как сказал, а что сказал.

– Ну, знаете ли! – вспыхнул Котельников. – Почему я это должен делать? Пусть это делают Оськина и Дудин. А мне и без этого работы хватает. У одного, видите ли, кто-то продолжает продлевать свои тёмные делишки и проливать чужие слёзы, благодаря капиталистам и их прихвостням, у другого зазнавшийся пьяница раскормленной рукой творит дела, от которых государство теряет одни убытки, а ты всё это правь, делай из этого что-то непонятное читателю. Прежде чем делать революции, – зло закончил Котельников, – надо бы обучить народ грамоте.

– Эх, куда вы хватили! Простите, но это уже утопия, – не согласился с ним Генрих Майский. – Где это вы видели, чтобы грамотный народ брал в руки оружие?

Вечером, дома, Котельникову Анна сказала, что у них на работе, в Рембыткомбинате, арестован заведующий Бирюков, а вечером, на общем собрании, заставили всех подписать письмо, в котором говорилось, что Бирюков враг народа, троцкист и саботажник. На следующий день утром, уже на работе, Котельников узнал из «Советской Колымы» что арестован не только Бирюков, но и другие хозяйственные и партийные работники. Статья, в которой это сообщалось, называлась «Кругом враги». «А ведь дед Егор прав, – подумал Котельников, – идут новые, после раскручивания, репрессии».

IX

На разведучастке, куда Антона направили промывальщиком, состоялось общее собрание, на котором были приняты социалистические обязательства на новый промывочный сезон. Зачитал их секретарь партбюро Крайнец. Как все партийные секретари, он был в наглухо застёгнутой куртке военного образца и в синих, узкого покроя галифе.

В социалистических обязательствах трудящихся разведучастка, воодушевлённые строительством социализма в своей стране, брались за выполнение годового плана по приросту запасов золота ко Дню Международной солидарности трудящихся – 1-го мая, заверяли партию и правительство в том, что никогда не будут опаздывать на работу и совершать прогулы, обещали повышать своё сознание и свой идейно-политический уровень, проявлять бдительность в борьбе с врагами народа, скрывающими своё подлое обличье под маской примерных тружеников.

Обязательства были приняты единогласно, только проходчик Ворона, любитель ставить вопросы, от которых докладчики морщились, как от боли в простуженном ухе, уже после голосования спросил: «Товарищ секретарь, а где взять врагов? У нас их нет».

Крайнец, бросив с трибуны на него строгий взгляд, ответил: «Товарищ Ворона, врагов надо искать».

Дома Антона ждал начальник горного участка Горбатов. Это он в прошлом году спас его от зоны, а сам за самовольную переброску сил на Трубном получил от начальника прииска выговор. Сейчас он сидел за столом с нераскрытой бутылкой водки и приготовленными Ирэткэной закусками.

– Выручай, – встретил он Антона. – Не выручишь, мне зона. – И, подавая исписанный крупными каракулями лист бумаги, сказал, – читай.

Бумага была письмом в органы госбезопасности. «Доклады-ваю, – писалось в ней, – Горбатов видёт себя атвратительно, бывает до не приличия пьян, занимается бисконечными и закулисными нашоптываниями, сеит всюду прапаганду в разрес нашей идиалогии, подрывает авторитет руководства камунитической партии, делает намёки на совецку власть и лично на товарища Сталина, на май предупреждения не реагирует. Извените за алигорию, Горбатова могила исправит. Доброжелатель». В верхнем левом углу письма стояло размашистое распоряжение: «Начальнику прииска тов. Зубову. Доброжелателя найти и доставить ко мне. За Горбатовым установить наблюдение. Районный уполномоченный НКВД Гайкин».

По резолюции на письме Антон понял: Горбатова могут посадить.

– А как письмо к тебе попало? – спросил он.

– Зубов передал. Сказал: найди эту гниду и делай с ней, что хочешь, – ответил Зубов.

– А чем я тебе могу помочь? – не понял Антон.

Горбатов выпил рюмку водки и, не закусывая, ответил:

– Ты в главных геологах ходил. Через тебя шли все бумаги. Вспомни, у кого был такой, как у этой гниды, почерк?

Антон вспомнил, но не почерк гниды, а состоявшийся при нём разговор начальника прииска с бригадиром участка, начальником которого и был Горбатов. Узколицый, с бегающим взглядом маленьких глаз, бригадир жаловался на Горбатова, говорил, как взятыми из письма фразами: бывает до неприличья

пьян, занимается бесконечными и закулисными нащёптываниями, но на политическую неблагонадёжность его не замахивался, говорил только, что он подрывает авторитет руководства прииска и делает намёки лично на его начальника. В конце жалобы, хорошо запомнил Антон, бригадир сказал: «Извините, товарищ начальник, за аллегория: Горбатова только могила исправит». Узнав, что бригадир метит на место Горбатова, Зубов его погнал из кабинета.

На следующий день Антон с Горбатовым сверили почерки письма в НКВД и актов, закрываемых бригадиром на выполненные работы. Почерки оказались один к одному одинаковыми, а через неделю бригадир исчез из прииска. Весной, когда стаял снег, труп его нашли в отвале брошенного полигона. По заключению врачей, умер он от переохлаждения после сильного алкогольного опьянения.

Если эта история для Горбатова кончилась относительно благополучно, то всё, случившееся потом с Антоном, больно отразилось не только на нём, но и на его сыне, Мише.

В районной газете «Горняк» за подписью внештатного корреспондента Сойкина появилась статья «Он не с нами». В ней сообщалось о том, что бывший главный геолог прииска «Дальний» А. Н. Решетов по своей преступной халатности, а может, и с преднамеренным вредительским умыслом, неправильно выбирал полигоны, тем самым не раз ставил прииск на грань невыполнения государственного плана. Да и бунт заключённых, как следовало из статьи, спровоцировал он. Оказывается, если бы полигоны выбирались им правильно, не было бы угрозы срыва плана, а, следовательно, не надо было гнать заключённых на морозы и доводить их до отчаяния.

По содержанию и тону было видно, что пером Сойкина водила рука Асика. Видимо, того, что Антона перевели промывальщиком, ему было мало.

В конце статьи, где Сойкин брал перо в свои руки, по стилю её изложения он не очень далеко ушёл от «доброжелателя», стучавшего на Горбатова. «На производстве А. Н. Решетов пускает нездоровые щупальца, – писал он, – ленинские принципы

управления народным хозяйством на местах истолковывает в широком смысле, а когда в нашей стране успехи явно опережают события, он, с помощью недиалектических методов вводит трудящиеся массы по этому вопросу в большие заблуждения. Нет, – заканчивал статью Сойкин, – не место А. Н. Решетову в наших рядах. Кто не с нами, тот против нас».

Антон плюнул бы на эту статью, если бы не связанная с ней история с сыном. Однажды, вернувшись из школы, сын закрылся в спальне и долго никого к себе не пускал. Когда, после долгих уговоров, Антон вошёл в спальню, он, бросившись к нему в колени, заплакал: «Папа, меня в пионеры не приняли!».

– Почему? – не понял Антон.

– Пионервожатая сказала, детей врагов народа в пионеры мы не принимаем, – немного успокоившись, ответил Миша.

На следующий день Антон пошёл к пионервожатой

– Наша пионерская организация имени Павлика Морозова, погибшего от подлой руки врагов народа, и это нас обязывает бороться за чистоту своих рядов, – строго поставленным голосом заявила она Антону.

– Но откуда вы взяли, что я враг народа? Будь я им, меня бы уже посадили, – сказал Антон.

– Вы что, не читали про себя в «Горняке»? – удивилась пионервожатая. И уже собираясь уходить, заявила: «Нет-нет, и не просите за своего Мишу. Что мы с ним будем делать, если сегодня примем его в пионеры, а завтра вас посадят?».

Х

– Зойка, ты куда смотрела?! – набросился на машинистку с порога Василий Игнатьевич.

– Никуда не смотрела, – не зная, что он от неё хочет, ответила Зоя.

– Ах, никуда! – бросил ей на стол последний номер газеты Василий Игнатьевич. – А в неё ты смотрела, когда отдавала гранки в типографию?!

Зоя в редакции была ещё и корректором.

– Смотрела, – ответила Зоя.

– Ах, она ещё и смотрела! – взвился Василий Игнатьевич.
– Не в газету ты смотрела, а на своего Майского. Ва-аськин! – закричал он так, словно Васькин был не в одной с ним комнате.
– Заметку «Шахтёрам Аркагалы – широкую дорогу» писал?»
– Писал, – согласился Васькин.
– А «шахтёрам слава» в ней писал? – спросил Василий Игнатьевич.

Васькин долго думал, даже зачем-то посмотрел на потолок, а потом ответил: «Кажись, писал».

– А теперь посмотри, что эта шельма нам подсунула! – выхватил у Зои газету Василий Игнатьевич. – Она в первом твоём слове пропустила букву «сэ» и получилось... Понял, что получилось?! Лава шахтёрам!

Узнав, что натворила, Зоя расплакалась. Из её коровьих глаз потекли такие слёзы, что казалось, их уже ничем не остановить. А Василий Игнатьевич уже метался по комнате, хватался за голову и кричал:

– Да что ж это такое?! Уже и Зойка мне свиней подкладывает! Не-ет, нет, нет! За это меня завтра же и посадят!

– Посодют, Василий Игнатьевич, обязательно посодют, – заверил его стоящий рядом дед Егор. – Да и как тебя не посодют? Новые реплесии, а у тебя: шахтёрам лава. Ты вот что, – предложил он, – покаянку пиши. Опокаянному-то голову не шибко сымают. Я вот написал, хотя с казаками и на сходе-то не был, мне десять дали, а соседу пятнадцать. Без покаянки, сказали эму на суду, меньше не даём.

– Да иди ты, – замахал на него руками Василий Игнатьевич, – без тебя не знаю, что делать!

– Ну, не покаянку, а опровержение приданному Зоей смыслу писать надо, – вмешался в разговор Генрих Майский. – так, мол, и так, произошло большое корректурное недоразумение, но без всякого антисоветского умысла, виновник недоразумения строго наказан и с расстройства лежит в больнице.

– Вот и пиши со своей Зойкой! Ты с ней шуры-муры крутишь! – крикнул Василий Игнатьевич и, хлопнув дверью, вышел из редакции.

В редакцию Василий Игнатьевич вернулся в конце дня. Был он у заведующего отделом пропаганды и агитации горкома партии Дудина. В горкоме его словно подменили. Осунувшийся и с потухшим взглядом, он молча сидел за столом и, кажется, никого не видел.

– Ну, что там? – спросил Котельников.

– Не знаю, – ответил Василий Игнатьевич, и тихо, чтобы никто не услышал, предложил: «Выйдем».

На улице, оглядевшись, нет ли кого рядом, как и в редакции, тихо сказал: «Про тебя спрашивал. Интересовался: какой властью дышишь – советской или буржуазной? После этого Василий Игнатьевич проверил, нет ли кого ещё и за углом, а вернувшись, добавил: «Бежать тебе, Котельников, надо. Не убежишь, посадят».

– Поздно. У них везде глаза и уши, – сказал Котельников.

На следующий день не вышла на работу Зоя, а вечером стало известно, что лежит она в больнице. Анна, с которой они были подругами, пошла к ней с передачей.

– У неё нервный стресс. Она никого к себе не подпускает, – сказал ей врач.

Увидев Анну, Зоя испуганно забилась в угол между стеной и кроватью, и закричала: «Не подходи ко мне! Не подходи! Я гадина! Я гадина!»

Когда Зоя успокоилась, она рассказала, что с ней случилось. Утром её вызвал к себе городской уполномоченный НКВД. Был он не в военной форма, а в гражданской. Узкий, в светлую полоску костюм подчёркивал его стройное сложение, а усы фырсыком на круглом, как у кота, лице и большие голубые глаза говорили о том, что он человек доброжелательный и вежливый. Зое показалось, что он сейчас с ней просто побеседует, сделает небольшой выговор за «лаву шахтёрам», да и отпустит. Начало разговора тоже не предвещало ничего недоброго, было видно, что уполномоченный в хорошем настроении.

– Как же вы это, голубушка, со своей «лавой»? – улыбаясь, спросил он.

Подхватив его хорошее настроение, Зоя ему тоже улыбну-

лась, и ответила: «Ой, да я и сама не знаю, как это вышло!». И уже уверенная в том, что всё будет хорошо, добавила: «Вы меня хорошенько отругайте, а уж я-то, обещаю вам, ни разу и никакой буковочки не пропущу».

– Хорошо, – всё ещё улыбался уполномоченный, – допустим, я вам верю, что сделали вы это неосознанно, но суду нужны доказательства. Они у вас есть?

Зоя растерялась. Доказательств у неё не было.

– То-то, – заметил уполномоченный и, сбросив с лица улыбку, спросил, – что будем делать?

– Не знаю, – растерялась Зоя.

– Ну, хорошо, оставим этот вопрос в стороне. Скажите, кто такие Котельников и Майский?

– Очень хорошие люди, – ответила Зоя.

Уполномоченный рассмеялся, но в его смехе уже не чувствовалось прежней доброжелательности.

– А кто из этих хороших людей говорил, что прежде чем делать революции, надо бы обучить народ грамоте, а кто из них говорил, что грамотный народ в руки оружие не возьмёт? – поднялся он из-за стола.

Зоя совсем растерялась, она вспомнила, что при разговоре о революции и неграмотном народе в редакции кроме неё был ещё корреспондент Горобец. Тихо, словно её уже уличили в обмане, она ответила: «Не знаю».

– Ну, вот что, хватит играть в кошки-мышки! – рассердился уполномоченный и, подавая ей лист бумаги и ручку, приказал: «Пиши. Я, такая-то и такая, сообщаю в органы НКВД о том, что Котельников и Майский враги народа, давно скрывают своё троцкистское прошлое, лично при мне поносили советскую власть и говорили, что она долго не продержится. Ругали они и нашего дорогого товарища Сталина, утверждали, что придёт время, и народ его повесит».

Зоя писать такое донесение отказалась.

– Ах, так! Тогда за свою антисоветчину в деле аркагалинских шахтёров и укрывательство врагов народа тебе будет как раз вышка, – пригрозил ей уполномоченный.

После того, как он вызвал в кабинет солдата с винтовкой и приказал вести Зою в тюрьму, не очень понимая, что делает, донесение она написала. Получив его, довольный уполномоченный сказал: «Ну, вот и ладненько».

Было видно, что он опять в хорошем настроении, на лице его играла улыбка, какой он встретил Зою утром.

Когда Анна ушла из больницы, Зоя, закрывшись в больничном туалете, повесилась.

Вечером Анна рассказала Котельникову всё, что услышала от Зои.

– Ну, всё, это конец, – сказал он, и попросил Анну, если его заберут ночью, сообщить Василию Игнатьевичу, что в редакции секретный осведомитель НКВД Горобец.

В эту ночь Котельников и Анна не спали. Как людям, у которых будущее потеряно, они больше говорили о прошлом. Вспоминали Эмтегее, доброго и так и не сумевшего вернуться в своё село богатым отца Парфёна, мать Анны Сардану, которая так мало видела в жизни хорошего, погибшего от руки тойона Гермогена, несчастных братьев Елагиных. Вспомнили они и об Антоне с Гришей. Прошлым летом они приезжали в Магадан, – Антон с Ирэткэной будучи в отпуске, Гриша – в служебной командировке. Ксюши с ним не было. Её он отправил рожать в Ленинград, к матери. Ездили они на море, где Гриша, несмотря на холодную воду, купался, потом они бродили по широким улицам Магадана, любовались его архитектурой, в парке культуры и отдыха смотрели футбол и пили пиво, вечером ходили в драмтеатр на «Дядю Ваню» Чехова.

Забрали Котельникова в три часа ночи.

XI

Асик, выбирая полигоны по-своему, решил направить разведучасток на зимние работы в долину ручья Широкого. Зная, что золота там мало, Антон решил уговорить начальника разведучастка дать ему одного проходчика и направить его с ним на ручей Глухой. Там с Митей и Трофимом, когда ещё на Эмтегее он учился у них искать золото, из двух шурфов они подняли

самородки. Начальником разведучастка был молодой человек, недавно окончивший буровые курсы. Лёгкий по складу характера и с безоблачными мыслями в голове, похоже, на Колыму он смотрел, как на досадное, но недолгое приложение к своей жизни.

– Валяйте, – согласился он с Антоном.

А когда расставались, неожиданно спросил: «Антон Николаевич, зачем вы это делаете? вас бросили в промывальщики, оболгали в «Горняке», а вам – дай золото».

Ответить на этот вопрос Антон не смог. Кто знает – зачем? Видимо, в каждом человеке есть такое, что не подвластно его пониманию, потому что оно не от ума, а от сердца. Разве сможет сказать альпинист, зачем он лезет в гору, а парашютист – зачем прыгает с неба.

На Глухой Антон взял с собой Митю. Обосновались они в брошенном охотничьем зимовье, прижилась у них и приставшая к ним по дороге бродячая собака. За лохматый вид и узкие в щёлку глаза назвали её Тунгусом. Предстояла долгая зима, поэтому прежде чем приступить к шурфовке, сходили на охоту и запаслись олениной. Хорошо показал себя на охоте Тунгус. Он не просто бегал за оленями, а гнал их к скрадку на ружейный выстрел.

До половины зимы золото шло плохо. Только из одного шурфа подняли небольшой самородок, в других содержание его не превышало двух-трёх граммов на кубометр. Тяжело давалась и проходка шурфов. Шла смёрзшаяся до камня глина, в отдельных шурфах попались валуны, взять которые ни на какой пожог не удавалось.

– Нячо, Антон Няколаич, и мы бяз золота ня вярнёмся, – успокаивал Антона Митя.

Оба они обросли, за бородой и нависшей с головы на лоб шапкой волос кроме глаз и носа на лице ничего не было видно, руки потрескались, по ночам ныли, как при ревматизме, от снеговой воды на зубах постиралась эмаль и уже казалось, что во рту не зубы, а их шершавые отростки. А до конца зимы всё ещё было далеко, тресали морозы, по ночам выли голодные волки.

Пошло золото с наступлением весны. Высокое его содержание было уже почти в каждом шурфу, встречались и самородки. С завершением работ до талых, заливающих шурфы вод, надо было спешить, но тут заболел Митя. Торопясь добить шурф, он спустился в него, ещё не остывший от пожара, а когда потный поднялся наверх, его продуло ветром. Вечером у него поднялась температура, а ночью он стал терять сознание. Антон решил сходить утром за ветками дикой малины. Он помнил, как на Эмтегее, его приёмная мать, Сардана, настоем из них справлялась с разными простудами.

С собой Антон прихватил ружьё. Запасы оленины уже подходили к концу, и он надеялся подстрелить оленя или молодого лося. За ним увязался Тунгус. По утреннему насту лыжи легко скользили, Тунгус весело бежал впереди, появившееся из-за сопок солнце, разбрасывая от тополей длинные тени, поднималось всё выше и выше, напуганные Антоном вороны, шумно срываясь с насиженных за ночь мест, громко кричали.

Уже на обратном пути Антон наткнулся на след лося. По этому следу и в стороне от него шли волчьи следы. По широким махам, какие делал лось, было видно, что уходит он от стаи, справиться с которой не может. Тунгус, словно его пристегнули, с громким лаем бросился по его следу. Не успел Антон пройти за Тунгусом и ста метров, как лай его оборвался тонким визгом. Пробежав ещё с полкилометра, Антон наткнулся на следы борьбы лося с волками. Весь снег на месте их был вспахан и залит кровью. Один волк с ощеренной пастью лежал мёртвым, а недалеко от него с разорванным горлом лежал Тунгус. Антон бросился дальше. Вскоре он увидел прижавшегося к толстой лиственнице лося, из рваных на его боку ран сочилась кровь, а волки, окружив его, были совсем рядом. Вскинув ружьё, Антон выстрелил. Один волк остался на снегу, другие разбежались. А обессиливший лось не трогался с места. У него дрожали ноги, в широко открытых глазах стоял предсмертный испуг, из ран всё ещё сочилась кровь. Убить его у Антона не поднялась рука. Вскоре, шатаясь и хромя на заднюю ногу, лось скрылся в недалеко расположенном подлеске.

Через неделю Митя встал на ноги. Добив последние шурфы, стали собираться к возвращению на прииск. Хорошо отмылись, привели в порядок одежду, проверили крепления на лыжах. Вышли в дорогу рано утром. Вечером уже были на слиянии Глухого с Широким, и если бы Антон не подвернул в щиколотке ногу, часов через восемь были бы на прииске. Опираясь на палку, он ещё пытался идти, но это ему плохо давалось, помощь Мити, поддерживающего его со стороны больной ноги, мало чего давала.

– Нет, Митя, не дойдём, – сказал, наконец, Антон. – Иди на прииск за помощью.

Понимая, что другого ничего не придумаешь, Митя согласился. Для Антона он разжёг костёр, заготовил к нему дров, рядом с ним уложил толстый слой из стланика.

– Антон Няколаич, только ня спитя, – сказал он перед уходом. – А я мухой.

Скоро наступила ночь. По распадку потянуло холодным ветром, с лиственницы, под которой сидел Антон, на костёр упали комья снега. Чтобы он не затух, Антон подбросил в него сухих дров и стланика. Необратимое желание уснуть пришло перед рассветом. С ним стало теряться сознание того, что сон – это смерть. Чтобы не уснуть, Антон пил чефир, но это мало помогало. Скоро сон и явь стали мало различимы, исчез страх перед смертью. Очнулся Антон оттого, что в недалеко расположенном кустарнике затрещали сучья. Обернувшись туда, он увидел волка. С взъерошенным загривком, он зло смотрел на Антона. Вскинув ружьё, Антон выстрелил. Волк упал, и тут же из кустарника на него набросилась волчья стая. Разрывая его труп на куски, волки рычали по-собачьи и набрасывались друг на друга. После второго выстрела стая разбежалась. «Вот и усни, – подумал Антон, – они и тебя разорвут в клочья». Когда взошло солнце и стало пригревать землю, Антона снова потянуло в сон. Скоро он опять погрузился в состояние, в котором сон и явь не различимы. Ему теперь казалось, что он на прииске, дома, Ирэткэна его отпаивает чаем, ему тепло, как у жарко натопленной печи, Ирэткэне он хочет сказать что-то

ласковое, но язык его не слушается. Вдруг на месте Ирэткэны появляется секретарь партбюро Крайнец. В куртке военного образца и галифе он кажется похожим на графин, которому снизу прицепили короткие ножки. Потом Антон видит его на трибуне, лицо у него уже похоже на морду зверя, он стучит по трибуне кулаком и зло бросает в зал: «Врагов надо искать!». На него набрасывается проходчик Ворона и бьёт его палкой по голове. После этого он бежит в зал к Антону, трясёт его за плечи и голосом Мити кричит: «Антон Няколаич, Антон Няколаич, проснитесь, проснитесь!» Придя в себя, Антон видит склонившегося над ним Митю, у него испуганное лицо и мелко трясутся руки. Увидев, что Антон проснулся, он кому-то кричит: «Братцы, живой! Антон Няколаич живой!».

Антону дали спирту и уложили в нарты. В больницу, где он пролежал два дня, к нему приходил Зубов.

XII

Перед тем, как втолкнуть Котельникова в камеру, из неё вынесли труп уже немолодого человека в окровавленной на груди рубахе. Утром он узнал, что это был профессор Дальневосточного университета Семёнов. Ночью, расколов своё пенсне, осколком стекла он перерезал себе вены. Что толкнуло его на это, в камере уже знали. В университете он был заведующим кафедрой восточно-азиатских языков, в качестве переводчика выезжал в Японию и Корею. После последней поездки в Японию он был арестован и обвинён в шпионаже в пользу этой страны. Дали ему пятнадцать лет. Сидел он в Маглаге, из-за слабого здоровья использовался на лёгких работах: в бараке ходил в шнырях, в морге из деревянной тары сколачивал гробы, а бане брил заключённым лобки и выжаривал вшей из их одежды. Однажды его вызвали в канцелярию Маглага и предложили написать признание в том, что он, участвуя в тайной встрече директора «Дальстроя» Берзина с японцами в качестве переводчика, стал свидетелем их преступного сговора о переправке в Японию большого количества золота. Профессор отказался, ему пригрозили расстрелом и отправили в камеру,

чтобы он в ней хорошо подумал. Понимая, что в случае отказа написать это признание его и на самом деле расстреляют, профессор решил уйти из жизни добровольно.

В камере было темно, как в яме, вставленная в металлическую решётку лампочка под потолком освещала только то, что рядом, несмотря на холод и гуляющие по полу сквозняки, дышать было нечем, на нарах, сколоченных на скорую руку из сырых горбылей, раздавались стоны тех, кто уже побывал на допросах. Здесь Котельников неожиданно столкнулся с Дудиным, вызывавшего его в свой отдел пропаганды и агитации по поводу стихов Крутика. Тогда у него была деревянная, по-армейски вытянутая осанка и тяжёлый, как у быка, взгляд, теперь, по-стариковски сгорбленный, с затравленным, как у загнанного зверька, взглядом, он сидел на нарах и вздрагивал от каждого стука в дверь. «Его-то за что?» – не понял Котельников. На этих же нарах, поджав под себя ноги, сидел худой, со сморщенным лицом татарин. Раскачиваясь из стороны в сторону, как маятник, он бормотал: «Ой, пырападал Абдулла! Ой, пырападал! Зачем язык пускал, большой вождь ругал? Турма сапсем здохнул будет». И, схватившись за голову, уже стонал: «Ой, худо, Абдулла» Ой, худо! Паси бог, как худо!».

Место на нарах Котельников занял рядом с пожилым, плотно сложенным человеком, в глаза бросались его широкий лоб и рыжий, стриженный ёжик волос на голове. Это был латыш Петерс, его принуждали дать показания о том, что в Москве в 1918 году имел место не заговор английских и французских послов, во главе которых стоял Берзин. Латыши хотели, чтобы их Латвия была не колонией России, а самостоятельной республикой.

– Говорю следователю, – рассказывал он Котельникову, – вы немного ошибаетесь. Берзин разоблачал заговор послов, Локкарт выдворялся тогда в свою Англию, а латышские хотели Латвию без немецкой оккупированности. А он, – продолжал Петерс, – кричит: советские органы не ошибаются! Спрашиваю его: а зачем тогда мои показания? Опять кричит: здесь я задаю вопросы».

И уже тихо, так, чтобы никто не услышал: «Вы знаете, что с Берзиным?»».

Котельников этого не знал. До своего ареста он слышал, что пытавшиеся защитить Берзина редактор газеты «Советская Колыма» и его сотрудники были арестованы и преданы суду. Видимо, и Дудин, догадывался теперь Котельников, идёт по их делу. А Дудин уже бил кулаками в дверь камеры и кричал: «Откройте! Откройте!».

Вошёл охранник: «Ну, чего тебе?».

– Я не виноват! Меня оговорили! Ведите к следователю! – сорванным на хрип голосом ответил Дудин.

– Ах, не виноват! – рассмеялся охранник, и одним ударом в лицо сбил Дудина с ног.

Большинство сидящих в камере не вставали со своих нар, ходили только по нужде на парашу да за баландой. Исключением был худой, с интеллигентным лицом и длинным, как у журавля, ногами заключённый. Забросив руки за спину, он, не переставая, ходил из одного конца камеры в другой, ни на кого не обращал внимания. Иногда он внезапно останавливался, на чём-то глубоко сосредотачивался, взгляд его, ничего не выражавший до этого, становился осмысленным, казалось, он в уме решает какую-то трудную задачу. Порой после этого он кому-то грозил пальцем и хитро улыбался. Был это, как сказал Петерс, еврей Яша. Когда в камеру входила охрана, он каждый раз спрашивал: «Вы письмо моё Сталину передали? Не передали? Ну что же вы так? Я на вас удивляюсь».

– Передали, передали, – смеялась охрана.

Когда она уходила, Яша довольно потирал руки: «Ой, как они будут от меня иметь».

После этого он снова ходил по камере. Если кто-то обращал на него внимание, он говорил: «Нет! Нет! И не просите! Писать за вас товарищу Сталину у меня нет времени».

Ночью Котельников долго не мог уснуть. И не от страха, что его ожидает. Всё это он уже прошёл в царских застенках, на каторгах и ссылках. Мучило сознание того, что неугодный и царскому самодержавию, и советской власти, он так и не на-

шёл своего места в политической жизни страны, не определил своих взглядов ни на революцию, ни на то, что надо делать после неё. С одной стороны, казалось очевидным, что поднимать неграмотный народ на революции преступно, потому что потом, кто захватил власть, может крутить из этого народа любые верёвки. И будет ли он жить лучше, чем до революции – кто знает. С другой стороны, все революции, и во Франции, и в Испании и других странах делал неграмотный народ. Побуждало его это делать нищета, в которой казалось: главное – это сместь всё старое, а новое-то без него будет построить нетрудно. Иногда Котельникову приходило в голову, что все эти революции, восстания и бунты такое же неизбежное зло, как войны между народами. Ведь и войны никто не оправдывает, но от этого их меньше не становится.

На следствии Котельников признался только в том, что было на самом деле: да, он говорил, что прежде чем делать революции, надо было бы обучить народ грамоте. Видимо, учитывая его преклонный возраст, других признаний из него выбивать не стали. Дали ему десять лет лагерей и пять лет невыезда. При выходе из комнаты, где его судили, он столкнулся с вводимым в неё Майским. Вид у Майского был измученным, лицо, в синяках, свидетельствовало о том, что на допросах его били. Котельникова он не узнал.

ХIII

Асик не знал, что делать: на Широком шурфы оказались пустыми, а признать, что у Антона на Глухом золото, он не хотел. У него пропал сон, на работе ничего не клеилось, дома опротивела жена. Вдвоём с ней ещё куда ни шло, но стоило кому-то прийти в гости, хоть убегай из дома. Манерничая и кривляясь, она строила из себя большую интеллигентку: за столом, как на торжественном обеде, вилку держала с далеко оттянутым в сторону мизинцем, рюмку одним махом не пила, пригубив из неё, жаловалась: «Нынче и вина хорошего нигде не достанешь». Если под столом начинал крутиться кот, она просила Асика: «Милый, дай, пожалуйста, котика покушать». Когда

уходили гости, она по инерции принятого при них поведения спрашивала: «Милый, ты меня обожаешь?» А тут ещё сосед за стеной! Как только Асик с женой ложились спать, он брал в руки гармонь и под неё пьяно пел:

«Будь проклята ты, Колыма,
Что названа чудной планетой».

Утром, когда Асик выговаривал за это соседу, он удивлялся: «Я пел?! Ну, это ты брось».

На начальника разведучастка и начальника прииска Асик написал жалобу, в которой за работу без его разрешения на Глухом первого предлагал перевести в промывальщики, второго уволить. Начальник прииска Асика сразу вызвал.

– За Решетова я тебе сниму голову, – сказал он, – а с начальником разведучастка разберусь сам.

Асик струсил, он знал, что Зубов слов на ветер не бросает. Вскоре на прииск приехал главный геолог горнопромышленного управления Мизин. Это был битый на все случаи жизни человек, поэтому скороспелых решений никогда не принимал.

– Ну-ну, посмотрим, что вы тут накопили, – сказал он Антону, принимаясь за материалы по Глухому.

В коротких и пухлых, как олады, руках у него был остро заточенный карандаш, а маленькие, в железной оправе очки, не вязались с его большой, с крупными залысынами головой. Когда через них он просматривал полевую документацию, Антону казалось, что берёт он в ней не геологическую информацию, а выискивает, чего в ней не хватает.

– Ну, вот, я так и думал, – словно в подтверждение этого, бормотал время от времени Мизин, и что-то записывал в небольшой, в кожаном переплёте блокнотик.

– И это всё? – просмотрев материалы, спросил он.

Высказать своё мнение о Глухом Мизин воздержался. И на то у него были веские причины. Понятно, золота на ручье много, и не скажи он это, ему пришьют вредительское сокрытие месторождения и надолго упрячут в лагерь, доложить же, что на прииске Дальнем промывальщиком открыто богатое месторождение, он не мог: спросят, а где была твоя геологическая

служба? За это, по меньшей мере, уволят по несоответствию.

На следующий день на прииске состоялось заседание технического совета. Первым на нём выступил Мизин. Говорил он долго и путанно, по главному вопросу – есть ли на Глухом золото, ходил вокруг да около.

– Где прикажите мыть золото в этом году? – не дослушав, перебил его Зубов.

– Придётся, Лаврентий Николаевич, подбирать борта на старых полигонах, – ответил Мизин.

– А что ты скажешь, Решетов? – спросил Зубов Антона.

Антон предложил уже в этом году начать на Глухом промывку золота.

– Не имеете права! – вскочил Мизин. – Работы на Глухом проведены без необходимой проектной документации и без надлежащего геологического контроля. Есть ли на нём золото, узнаем, когда проведём там работы в установленном порядке.

Через два дня Зубов с Антоном были в Магадане. Принял их начальник геологоразведочного отдела «Дальстроя» Градский. С Зубовым в гражданскую войну он ходил на одном бронепоезде, вместе они били белогвардейцев в Сибири, после бронепоезда Градский окончил геологоразведочный факультет в Томском политехническом институте, работал на Алдане, оттуда был переведён в «Дальстрой». Ознакомившись с материалами Антона, он дал в управление команду: к промывке золота на Глухом приступить немедленно, а Антону сказал: «Не будет на Глухом золота, и тебе не поздоровится». Вечером Антон решил сходить к сестре Анне и к Котельникову. Квартира их оказалась закрытой и опечатанной. Соседи, избегая с ним разговора, отвечали одно: ничего не знаем. Антон пошёл в редакцию газеты, где работал Котельников. Редактор её Василий Игнатьевич, как когда-то и Котельникова, вывел его из помещения редакции на улицу, и, убедившись, что рядом и за углом никого нет, сообщил: «Арестованы. Сначала Котельников, а потом Анна. Что с ними, не знаю, – и подал Антону папку, – Анна просила передать вам». В папке находилась рукопись книги Котельникова «Быт и нравы колымских инородцев».

Часть III

I

В мае с китайской границы Гришу перевели на границу с Польшей, а в июне началась война с немцами. Встретил он её в Брестской крепости. После месячной обороны, с остатками красноармейцев, пробираясь лесами на восток, к линии фронта, он вышел на отряд белорусских партизан. Командовал отрядом Белобородько. Внешне он не был похож на военного, хотя в гражданскую войну и командовал кавалерийским отрядом. Узкоплечий, с мягкими чертами лица, в очках с тонкой железной оправой и поношенном пиджаке, сейчас он больше походил на сельского учителя.

Вооружён отряд был плохо.

– Вянтовка на двоих, бярданы тры, пястоле два, гранат нема, – сказал Белобородько Грише.

Состоял отряд в основном из людей пожилого возраста. Выделялся среди них по-медвежьи сложенный дядя Митря. Здесь же, в отряде, был его сын Санько. Сложен он был по-отцовски, и, хотя перевалило ему за двадцать, отцу ни в чём не перечил. Если же это случалось, отец брался за ремень и грозил: «Выпору»!

Были в отряде и женщины. Молодые и крепкие участвовали в боевых операциях, а те, что постарше, кашеварили и обстирывали партизан. Жили они в отдельной землянке. Жила с ними и десятилетняя девочка Агаша. Пьяные немцы на глазах Агаши изнасиловали её мать, а когда она, вырвавшись из их рук, бросилась на одного немца с топором, её за волосы выволокли во двор, облили керосином и подожгли. В окно Агаша видела, как мать, объятая пламенем, металась по двору и громко кричала. От этого Агаша сошла с ума, и теперь ходила по партизанскому лагерю и просила: «Люды добры, подайте Христа ради мией мамонке». Ей казалось, что мать жива и находится с ней в одной землянке, ложась спать, она всякий раз что-то одеялом укрывала рядом с собой и говорила: «Спи, мия мамонька, спи, мия ридная».

Отряд надо было вооружить и научить партизан обращаться с оружием. Добыть оружие решили на недалеко расположенной железнодорожной станции через работающего на партизан сцепщика. Узнав, где с оружием стоит вагон, ночью сняли там часового. Кроме стрелкового оружия, в вагоне оказались ящики с гранатами и взрывчаткой. Учить партизан обращаться с оружием и взрывчаткой взялся Гриша.

Партизанские ночи, когда они не заняты боевыми операциями, длинные. В такие ночи Гриша долго не мог уснуть. В памяти всё ещё стояли дни обороны Брестской крепости, где под артиллерийскими обстрелами и бомбовыми ударами с одними винтовками и пехотными гранатами приходилось отражать поддерживаемые танками атаки немцев.

Гриша видел, как гибли красноармейцы, как смертельно раненные, не веря в свою смерть, просили о помощи, он видел, как обезумевшие от страха забивались в углы дотов и ничего, кроме угрозы расстрела на месте, не понимали, видел, как отчаявшиеся отбить атаку и остаться живыми, бросались под танки. Там, в Брестской крепости, Гриша понял, что война – это совсем не то, что он представлял о ней раньше. Это не ратные подвиги во имя боевой славы, а тяжёлая работа ради сохранения жизни. Побеждают в войне не те, кто не боится пули и с голыми руками бросается под танки, побеждают в ней те, кто обладает умением остаться живым, чтобы уничтожить врага.

Иногда в такие ночи память о прошлом возвращала Гришу в Ленинград, к Ксюше, куда он заезжал на два дня по пути на польскую границу. Ксюша уже родила ему дочь, было ей три месяца, звали её Ирой. «Нет, ты посмотри на неё, посмотри, – говорила Ксюша, – какая она красивая!».

А Гриша в курносом комочке видел не красоту, а такое ему близкое и родное, что казалось, взято это из-под самого сердца. «Нет, нет, ты только посмотри, – не унималась Ксюша, – у неё и нос греческий, и глаза мои». Ксюша уже работала на радио диктором, за Ирой ходила её мать.

На ужин, по случаю приезда Гриши, пришёл сосед по коммуналке Игорь Петрович. Был он уже на пенсии, но читать

лекции в горном институте всё ещё не бросил. Гришу он спрашивал, как идут дела в Красной Армии и готова ли она отразить фашистов.

Гриша отвечал, что дела в Красной Армии идут хорошо, а фашисты – пусть только сунутся.

От связного из Сосновки партизаны узнали, что в его селе полицаи Грицук, бывший махновец, выдаёт немцам коммунистов, и принимает участие в их расстреле. Пошли за ним дядя Митря с сыном и Гриша.

– Бяряте яго живым, повесим у лагере, – сказал Белобородько.

Взяли Грицука ночью, пьяного, в постели, но за селом наткнулись на немцев, меняющих караулы. Завязалась перестрелка.

– Дядя Митря, – приказал Гриша, – гоните полицаю в лагерь, немцев мы задержим.

А к немцам уже подоспела помощь. Вскоре Гришу и Санько отрезали от леса. Прорвались, забросав немцев гранатами. Санько в этом бою был ранен в руку.

Вешали Грицука в полдень. На небе было яркое солнце, вокруг лагеря всё тонуло в зелени, в лесу пели птицы, играли в траве кузнечики, пахло сосновой смолой, и казалось, не время сейчас вешать предателей, лучше это делать в ненастную погоду или тёмной ночью, когда на улицу никто не выходит. Но у войны свои законы, и Грицук, подталкиваемый конвоирами, шёл сейчас к месту, где будет повешен. У него дрожали ноги, дёргалось лицо, он уже не раз обмочился. Видимо, потому что был в немецкой форме, на него набросилась Агаша и стала кусать ему ноги. Её с трудом от него отняли и увели в землянку. Перед тем, как Грицука повесить, Белобородько произнёс короткую речь. В ней он сказал о том, что предатель хуже врага, потому что он поднял руку на свой народ. А Грицук, когда говорил Белобородько, ползал на коленях и голосом, сорванным на хрип, просил: «Люды добры, простыте».

Тело Грицука закапывать не стали, бросили его в лесу на растерзание хищным зверям.

II

В лагере с подозрением на язву желудка Котельникова положили в больницу. В палате с ним лежали шахтёры, покалеченные взрывом метана в угольной шахте, туберкулёзник Квашин и итальянец Бруни, с раком лёгких. Сражавшийся на стороне испанского народа в борьбе с фашистами, с приходом к власти Франко, Бруни бежал в Советский Союз, где был клеветнически обвинён в шпионаже в пользу Италии и осуждён на двадцать лет колымских лагерей. Но по ночам он уже задыхался, теряя сознание, просил: «Oh, dio, salvemi⁴». Бог Бруни не спас, похоронили его на эковском кладбище в сбитом из консервной тары гробу. Уже в конце пятидесятых годов остатки посмертно реабилитированного Бруни родственники перевезли в Италию и перезахоронили его с воинскими почестями. С тяжёлым, как у бабы, задом туберкулёзник Квашин целыми днями тумбой сидел на кровати и ничего не делал. Он ни с кем не разговаривал, ел много и жадно, после еды долго и с отрыжкой ковырялся в зубах. Глаза его, похожие на две оловянные ложки, ничего не выражали, было видно, что лагерь из Квашина сделал идиота. Когда кто-то в беспамятстве падал с кровати или, теряя равновесие, ронял на пол костыли, он смеялся: «Гы, комедия!». А шахтёры надеялись, что их после выздоровления направят на фронт. «Лучше погибнуть в бою, чем гнить в бараках», – говорили они. До них, в больнице, ещё не дошло, что заключённых с Колымы на фронт не пускают, исключение делают только большим военачальникам. Одного из таких военачальников, чтобы подлатать его для фронта, положили в палату с Котельниковым. На Колыму он попал за критику маршала Будённого, исчислявшего главные вооружённые силы страны всё ещё в саблях. Уже подлатанный, прощаясь, он сказал: «Крепитесь, товарищи. Не держите зла на свою Родину, её, как и мать, не выбирают».

После операции Котельникову не стало лучше, а врачи, словно стоворившись, молчали или отделивались ничего не значащими фразами. «Значит, что-то не ладно», – решил он, и на

⁴ О, боже, спаси меня! (итал.)

одном из утренних обходов спросил главврача: «Что со мной? Не скрывайте. Я в том возрасте, когда смерть уже не пугает».

– Рак у вас, – не глядя на Котельникова, ответил главврач. – Жить осталось немного.

Вскоре Котельников уже не мог встать с постели. А смерть его и на самом деле не пугала. Человек боится смерти, когда надеется выжить, у него такой надежды не было. Вся жизнь осталась в прошлом, и возможности поправить в неё что-то уже не было. И, видимо, поэтому не мучило, как в следственной камере, осознание того, что он так и не нашёл своего места в политической жизни страны. Прошлое возвращалось к нему уже не ссылками, побегам и каторгами, а тем, что к этому никакого отношения не имело.

Детство возвращало ему голубое небо и яркое на нём солнце, пруд с зелёными кувшинками на воде и кудрявыми на берегу ивами. Тогда он верил, что в пруду живут русалки, ночью они выходят на берег и, как говорили взрослые, ищут себе женихов. За прудом, в лесу, он слушал, как поют птицы и стрекочут в траве кузнечики. Далеко в лес он ходить боялся, казалось, там живут ведьмы и злые разбойники. А вот он в этом лесу уже в университетские годы. Над ним, как и в детстве, голубое небо и яркое солнце, а в лесу, куда он ходить боялся, песня: «Расплети мою косу, забери мою красу». Был он в этом лесу и после побега из туруханской ссылки.

Стояла ненастная погода, дул холодный ветер, и никто в лесу уже не пел. Приходила в воспоминаниях к Котельникову и мать. У неё всегда было грустное лицо и подёрнутые печалью глаза. «Ты уж, сыночек, не простывай. В Сибири так холодно», – говорила она, провожая его в якутскую ссылку. А вот на Эмтегее, за окном ночь, глубокие сугробы снега, на холодном ветру гудит тайга, а они с отцом Парфёном у жарко натопленной печи беседуют о боге. Отцу Парфёну он говорит, что бога нет, его придумали от неверия в человеческий разум, и приводит примеры, из которых видно, что если бы бог был, то не было бы в жизни так много злого и неразумного. «И не мудрое божие премудрее человеков», – отвечает ему отец Парфён. Потом

видит себя Котельников с Анной на могиле отца Парфёна. Над ними по-осеннему холодное солнце, с тополей, окружающих кладбище, падает жёлтый лист, таёжные дали утопают в лёгкой, как ситец, дымке, в ярко-красной воронике горят сопки. Недалеко Митя. Он приводит в порядок могилы братьев Елагиных, а вернувшись, говорит: «Кто ня любит ходить за могилами, тот на том свете будет ходить в язгнании».

Умирал Котельников тяжело. Боли в желудке разрывали всё тело, плохо помогал морфин. Уже перед смертью он слышал, как кто-то сказал над ним: «Кажись, помер», а Квашин засмеялся: «Гы, комедия!».

Его, посмертно реабилитированного в пятидесятых, и свою сестру Анну, умершую в Эльгенском лагере от дистрофии, Антон перезахоронил на Эмтегейском кладбище.

III

«Внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! – звучал голос Левитана над собравшимся на митинг посёлком. – Заявление Советского правительства. Граждане и гражданки Советского Союза, сегодня, 22 июня, в четыре часа утра без объявления войны германские войска вероломно напали на нашу страну». После трансляции этого заявления выступил начальник прииска Зубов. Он сказал, что победа над Германией будет коваться не только на фронте, но и в тылу, и поэтому поднять производительность труда, увеличить добычу золота – первейшая задача прииска.

Когда расходились с митинга, женщины плакали, мужики ругали вероломных немцев и предрекали скорую над ними победу. «Куда им до нас», – говорили одни. «Видали мы таких», – говорили другие.

Скоро от заявлений с просьбой отправить на фронт у Зубова не было отбоя. Наложить бронь на любого работника прииска Зубов имел право, а вот не дать её он мог по согласованию с управлением и военкоматом.

Понимая, что от Асика, кроме вреда, прииску ничего не будет, брони ему Зубов не дал. Асика забрали на фронт, не всту-

пились за него и в местном НКВД, потому что с началом войны стукачи стали никому не нужны. Вместо Асика главным геологом прииска стал Антон. Дела на прииске пошли лучше. На Глухом уже шло хорошее золото, Зубов выбил в управлении бульдозер, бутары заменил на более производительные промприборы, уже без страха, что на тебя донесут и посадят в лагерь, работали все слаженно и дружно. Понимая, что на пустой желудок много не наработаешь, Зубов взялся за организацию подсобного хозяйства. Вскоре дополнительно к карточному питанию стали выдавать свинину и яйца. Организовал он и выпечку своего хлеба. Открылась в посёлке мастерская по пошиву одежды и ремонту обуви. Был организован сбор тёплых вещей для фронтовиков, дополнительно к военному займу был открыт счёт мести. Всё: и производство, и личная жизнь, было подчинено призыву партии и правительства: «Всё для фронта! Всё для победы!» Плакаты с призывами искать врагов народа, были сняты, на месте их появились новые, призывающие к уничтожению фашистов. На плакатах Кукрыниксов с хищной физиономией и костлявыми руками Гитлер насквозь пронзался красноармейским штыком, на другом, уже с кислой, как у плаксивой бабы, физиономией, он очень жалел, что напал на русских, и предрекал себе скорый капут. Везде, и по радио, и на подмостках самодеятельных коллективов, звучала песня поэта Лебедева-Кумача и композитора Александрова «Вставай, страна огромная! Вставай на смертный бой! С фашистской силой тёмною, с проклятою ордой!» И хотя немцы всё ещё наступали, жгли наши города и сёла, убивали детей, стариков и женщин, все были уверены в том, что враг будет разбит, победа будет за нами.

Изменилось отношение к работе и у заключённых. Политические, оставив свои обиды на послевоенное время, наравне со всеми кайлили мерзлоту и катали тачки, бытовики брали на себя повышенные обязательства, урок, отлынивающих от работы, расстреливали. Плакат «Всё для фронта! Всё для победы!» висел над воротами лагеря.

Однако не все партийные секретари на местах сразу нашли

своё место в новой обстановке. Народ надо было брать не на испуг, как раньше, а на сознание, а они это делать не умели. Им всё ещё казалось, что враги народа остались, и если их не выявлять, война с фашистами будет проиграна. Когда секретаря партбюро разведучастка Крайнеца проходчик Ворона спрашивал на собрании, где взять врагов, если их нет, он по-прежнему отвечал: «Врагов, товарищ Ворона, надо искать!».

Но его скоро поправили в райкоме. Сказали, что установок на поиски врагов сверху не поступало, и более того, товарищ Сталин в обращении к народу по случаю нападения на страну фашистов назвал народ не товарищами, а братьями и сёстрами. А какие могут быть враги среди родственников. И ещё, посоветовали Крайнецу, меньше сидеть в кабинете, пора идти в трудовые массы.

Крайнец закрыл кабинет на ключ, сбросил с себя куртку военного образца и синие галифе и оделся в брезентовую робу. На полигоне он даже брался за лопату, но его скоро оттуда погнали, чтобы не путался под ногами.

А Антону надо было готовить полигоны на будущие промывки. На предполагаемый с золотом соседний с Глухим ручей Трубный он решил направить поисковый отряд во главе с Митей.

– Антон Няколаич, я же ня геолог, – сказал Митя.

– Ты, Митя, настоящий геолог, – ответил Антон.

– А и правда, – не стал скромничать Митя. – У мяне нюх на золото, как у собаки на пярпёлку.

Золото Митя на Трубном нашёл, а сам погиб в схватке с промышлявшей грабежом старательского золота бандитской шайкой. Бандиты, пытаясь узнать, где спрятано намытое отрядом золото, Митю долго били, а ничего от него не добившись, застрелили. Хоронили Митю всем посёлком. У его гроба Зубов сказал, что погиб Митя, как на фронте, героем, и на таких, как он, держится вся страна, потому что сила её в простом народе. Через год на Трубном открыли новый прииск и назвали его Митиным.

IV

Заснеженный и безмолвный, под сумрачным небом блокадный Ленинград казался мёртвым. Стояли трамваи, не ходили автобусы, с наступлением ночи не зажигались огни, по утрам не открывались магазины. Закованный в серый камень Невский пугал пустыми глазницами окон, казалось, если и есть за этими окнами кто-то живой, то прячется он по тёмным углам своих холодных коридоров.

Уже давно не было над городом солнца, Нева, в сугробах снега, казалась пустыней, а вмёрзшие в лёд катера и пароходы были похожи на большие каменные глыбы. От бескормицы покинули город и вороны, не кружили над Исаакиевским собором голуби, не рылись воробьи в мусорных ящиках.

Появлялись люди на улицах города утром. Их было мало, шли они на работу, шли медленно, как на ощупь, казалось, они набиты ватой, из тех, что падали, мало кто поднимался на ноги, никто из них уже не просил помощи. Потом появлялись на улицах люди с санками. Они развозили своих родных покойников по моргам, свезти их на кладбище у них не было сил. На кладбище из моргов увозили их на старых, оборудованных под похоронки полуторках, и под вой холодного ветра, в метели и вьюги, закапывали в братские могилы.

Оживал город, когда с неба падали фашистские бомбы. Громко объявлялась воздушная тревога, старики и дети бежали в бомбоубежища, молодые сбрасывали с крыш зажигательные бомбы, выносили из домов раненых, пожарные машины спешили на пожары, из укрытий Петропавловской крепости стреляли по вражеским самолётам. Теперь уже не казалось, что Ленинград – мёртвый город, поднявшийся на отпор врагу, он был похож на фронт без флангов и тыла, где всё: и улицы, и заводы, и научные учреждения, и школы, были передовыми позициями.

На работе особого голода Ксюша не ощущала. Утром она делала по радио объявления, давала сводку Совинформбюро, вечером вела литературно-патриотические передачи. «И та, что сегодня прощается с милым, – читала она стихи Анны Ах-

матовой, – пусть боль свою в силу его переплавит. Мы детям клянёмся, клянёмся могилами, что нас покориться никто не заставит». В этих стихах она видела себя, видела Гришу. Вот она его провожает на границу с Польшей, паровоз уже под парами, у вагона люди, они весело прощаются друг с другом, никто не знает, что скоро война и многие больше никогда не увидятся. Она просит Гришу, чтобы он берёт себя, не дай бог нападут фашисты, а он смеётся, пусть только сунутся.

И вот уже полгода от него никаких известий. Где он? Что с ним? Может, уже и нет в живых? Господи, сохрани его!

Ощущение сильного голода приходило к Ксюше дома, после работы. У неё кружилась голова, подкашивались ноги, и хотелось спать. Пересилив недомогание, она брала полученную на радио пайку хлеба, делила её на три части, одну ела сама, другую отдавала матери, из третьей для дочери делала хлебную соску. Молока в груди у неё не было.

Вскоре мать умерла, а её с Ирой спас от голодной смерти сосед, Игорь Петрович. Из института он приносил им кисель, сваренный из органического клея, сохранившегося у них на складе с довоенного времени.

– Не бойтесь, Ксения Ивановна, – говорил он, – не отравитесь. От вредных примесей мы очищаем его на центрифуге.

Делился он с Ксюшей и тем, что приносил ему сын, служивший в войсках противоздушной обороны. Военный паёк был больше гражданского. Оформил Игорь Петрович им с Ирой и документы на выезд из Ленинграда. Как Ксюша выбиралась из него по Ладожскому озеру, как садилась в железнодорожный вагон и ехала в нём первые дни, она плохо помнила. Осталось из этого вагона в памяти одно: на станции, с которой их отправляли, ей дали большой кусок хлеба, полную чашку супу, а Ире молока. Когда Ксюша ела, она плакала, и слёзы её падали в чашку с этим супом.

В вагоне с Ксюшей ехали такие же, как и она, женщины с детьми, и старики. Все они, истощённые голодом, были похожи на скелеты, обтянутые дряблой кожей. Разговоров в вагоне было мало, всех пугало неизвестное будущее. Везут их в

Сибирь, а куда, точно никто не знал. Да и нужны ли они этой Сибири, там, наверное, и без них не сладко.

В Пензе в вагон подсел демобилизованный, без ноги, красноармеец. Женщины бросились к нему: не встречал ли на фронте их мужей?

– Не-е, бабы, – рассмеялся красноармеец, – я с однимя генералами ходил. – Но увидев, что истощённому голодом вагону не до шуток, ответил: – Нет, милые, никого я из ваших мужьёв не видал.

Возраст красноармейца определить было трудно. По морщинистому лицу в рыжей щетине ему можно было бы дать и все пятьдесят, а по узким в щёлку глазами, в которых, казалось, таится постоянное желание сказать что-то смешное, он не тянул и на тридцать. Угостив детей сахаром, а тех, кто хотел, самогонкой, уже и сам, захмелевший, он опять стал шутить. Засыпая, Ксюша слышала, как он весело говорил:

– А с генералом Жуковым с одной чашки-ложки ели. Однава, аккурат под Москвой, говорю ему: «Гриша, ты войсками-то не хами! А он мне «Не бойсь, тэзка, – меня тоже Гришей звать, – не бойсь, говорит, тэзка, воёсков у меня много, в одном лезерве двадцать полков. Говорю: «Мало, перебрось-ка с фронта ещё два полка». А он: «Согласен с тобой, Гриша, да Сталин не велит».

Потом слышала Ксюша, как красноармеец пел:

«Хорошо тому живётся,

У кого одна нога.

И сапог один не шьётся,

И портяночка одна».

– Милок, а дома-то тебя ждёт кто? – спросила его какая-то женщина.

– Не знаю, – ответил он.

В Омске, где сошёл красноармеец, Ксюша видела, как, пряча лицо от холодного ветра в поднятый воротник шинели, он долго стоял на перроне, курил самокрутки, а потом, тяжело опираясь на костыли, пошёл на вокзал.

От Омска начались степи. С чахлыми берёзками, с серыми

прогалинами на месте стоявшего снега, они далеко убегали за горизонт, и казалось, конца им нигде нет. «Господи, куда нас везут? Что с нами будет?» – думала Ксюша.

V

В лагерь Белобородько привели пленного немца. Взял его сын дяди Митри, Санько, когда возвращался с боевого задания. Взять его было нетрудно. Недалеко от села сидел у реки без оружия и играл на губной гармошке.

– Хэндэ хох⁵! – крикнул ему Санько, передёрнув затвор винтовки.

Немец сопротивляться не стал.

– Gut, gut⁶, – сказал он и поднял вверх руки.

Белобрысый, с голубыми глазами и узким лбом, он не был похож на солдата, каких со зверским лицом рисовали в то время Кукрыниксы на своих боевых плакатах.

– Ich verstehen gar nichts russisch⁷, – сказал он сразу.

За перевод взялась партизанка Шура, изучавшая немецкий язык в своей десятилетке.

– Ich nicht aus das Gestapo⁸, – сообщил немец на первом допросе.

Служил он в своей части писарем, имел доступ к секретным документам, было видно, что на допросах ничего не скрывает, и поэтому узнали партизаны от него много нужных им сведений. После каждого допроса он говорил: «Verfluchte Hitler kaput⁹».

Вечером его попросили сыграть на губной гармошке. Закатывалось солнце, разбрасывали длинные тени сосны, вечерняя роса уже упала на землю, укладывались на ночлег птицы, и, слушая мелодичные наигрыши немца, казалось, уже нет нигде войны, никто ни в кого не стреляет, нет на земле ни страданий,

⁵ Руки вверх (от нем. Hande hoch)

⁶ Хорошо (нем.)

⁷ Я ничего даже не понимаю по-русски (нем.)

⁸ Я не из Гестапо (нем.)

⁹ Проклятый Гитлер капут (нем.)

ни слёз, ни горя. А когда принесли патефон и из него полилась волшебная мелодия Козина: «Утомлённое солнце нежно с морем прощалось», казалась, война отодвинулась ещё дальше. И немец, ловко одёрнув свой китель, предложил под это танго Шура: «Ihre Hand, Madame¹⁰».

«Танцевать с немцем!» – испугалась Шура. И она бы никогда с ним танцевать не пошла, если бы не знала, что завтра его расстреляют. Это он, немец, думал, что и у партизан, как и в регулярной армии, пленных отправляют в лагеря и заставляют там много работать. Не знал он, что у партизан всех пленных расстреливают, потому что лагерей на них нестроишься. А немец, уже танцуя с Шурой, говорил: «Madame, du hast die schönsten augen¹¹».

А у Шуры и на самом деле глаза были красивыми. От отца, грузина по национальности, в них остались живая любознательность и цвет спелой смородины, а от белорусской матери длинные светлые ресницы.

– Ты мяне глазами и очмурала, – говорил ей Санько, с которым они жили уже как муж и жена.

Однако немец всё-таки понимал, что если его и не расстреляют, хорошего у него будет мало. Когда его повели в землянку, чтобы закрыть на ночь, Шура слышала, как он тихо сказал: «Jh! Es tut mir in der Seele¹²».

Утром Белобородько вызвал Санько и приказал: «Вяди фрыца в лес, пора яго стрялять».

– Стрялять фрыца ня буду, – ответил Санько.

– Як ты казав?! Стрялять ня будешь?! – вскричал Белобородько. – Брэшешь! Стрялять фрыца я цябе заставлю!

– Стрялять фрыца ня буду, – повторил Санько.

– Ах, так! – схватился Белобородько за наган.

– Дядя Ляксея, убяри пушку, у мяне своя есь, – не испугался Санько.

¹⁰ Вашу руку, мадам (нем.)

¹¹ Мадам, у вас красивые глаза (нем.)

¹² Ах! Как это ранит мою душу (нем.)

Пришлось вызвать его отца, дядю Митрю. Узнав, в чём дело, дядя Митря снял ремень и сказал: «Выпору».

Когда Санько вёл немца на расстрел, всё ещё стояло утро. Солнце, зацепившись за край леса, казалось, подниматься в небо не торопится, белый, как молоко, туман низко стелился над рекой, пели одни ранние птицы, в набравшемся ночной сырости сосновом бору было холодно. Немец, поняв, что его ведут на расстрел, шёл, как слепой, не выбирая дороги и всё повторял: «Herrje! Gott der barmherzige¹³».

Иногда у него подкашивались ноги, и, чтобы не упасть, он часто останавливался.

Немца Санько было жалко. Он не понимал, за что надо убивать человека, если он никому не сделал плохого. Да и как убивать безоружного человека? В бою – дело другое, а тут и стрелять не надо, ударь его палкой по голове, он и не поднимется. Уже далеко от лагеря Санько остановил немца и скрутив сигарку, дал ему покурить. Покурив, немец упал перед ним на колени и стал просить: «Der Komrade, seien Sie so gut, lass los¹⁴».

У него тряслись руки, дёргалось лицо, а из глаз бежали слёзы. Санько не понимал, что ему говорит немец, но догадаться, что он просит пощады, было нетрудно.

– Бяги! – приказал он немцу, но немец его не понимал. – Бяги, кому говорю! – рассердился Санько и толкнул немца в грудь прикладом винтовки. Немец вскочил на ноги и стал пятиться от Санько задом.

– Да тякай же ты, кому говорю! – уже чуть не плача, крикнул Санько и передёрнул затвор винтовки. Немец зайцем бросился бежать, а Санько, чтобы в лагере не сомневались, что он убил немца, выстрелил в воздух.

VI

Прошла зима, у Миши закончился учебный год, и Антона вызвали в школу.

– Антон Николаевич, – сказала ему директор школы, – у ва-

¹³ Господи! Боже милосердный! (нем.)

¹⁴ Товарищ, будь добр, отпусти (нем.)

шего Миши за год одни тройки. А ведь он способный мальчик, – продолжала она, – с такими способностями, как у него, ходят в отличниках. Спрашиваю его: «Миша, ты почему плохо учишься? А он: «Я, Вера Николаевна, не хочу учиться». «Почему?» – спрашиваю. Молчит.

Вера Николаевна была опытным педагогом, в свои шестьдесят лет не потеряла интерес к школе и любовь к детям, за каждого из них переживала, как за своего ребёнка. Вот и сейчас, рассказывая о Мише, она не могла скрыть страдальческого выражения лица.

– Пугает, Антон Николаевич, и другое, – продолжала она, – он не хочет стать пионером. Спрашиваю, почему, опять молчит.

– Причину этого, Вера Николаевна, я знаю, – вспомнил Антон, как два года назад пионервожатая не захотела принять Мишу в пионеры, потому что сомневалась, не враг ли народа его отец.

– Антон Николаевич, ну почему вы тогда мне этого не рассказали? – воскликнула Вера Николаевна. – Я бы всё уладила. А Машеньку, – вдруг заплакала она, – вы уж не судите. В ноябре под Москвой её немцы повесили.

Антон понял, что Машенька – это та пионервожатая, что не приняла Мишу в пионеры.

– Вот письмо от её подруги, – дрожащей рукой подала Вера Николаевна Антону солдатский треугольник.

«Здравствуйте, Вера Николаевна. – писала подруга, – сообщая Вам о героической смерти комсомолки Маши Смирновой. Её повесили немцы в деревне Мышицкая. Была она там на боевом задании, узнавала: сколько у них сил. Фашисты-гады над ней издевались, как хотели, но военных тайн она им не выдала. За смерть Маши мы отомстим». Заканчивалось письмо словами: «Смерть немецким оккупантам!».

– Вера Николаевна, разрешите, я это письмо покажу Мише? – попросил Антон.

Вера Николаевна согласилась, но Миша это письмо понял по-своему и совсем не так, как хотел Антон. У Миши уже

давно зрело желание убежать на фронт, и письмо только подтолкнуло его к решительным действиям. Бежать на фронт он уговорил Валерку, своего одноклассника. Втайне от родителей стали собираться в дорогу. Подобрали тёплую одежду, насушили сухарей, для того, чтобы снимать немецкие караулы, Миша взял отцовский охотничий нож, а чтобы не заблудиться в тылу врага, его компас. Решили взять с собой и Валеркиного Шарика. Конечно, бросаться под вражеские танки с взрывчаткой на спине, как это делают советские собаки, он не сможет, не хватит на это сил, но выискивать врага в их блиндажах он сможет.

До Магадана Миша с Валеркой решили добираться на попутках. Из дому вышли рано утром, родители в это время ещё спали. Когда вышли за посёлок, пошёл дождь. Сначала он был мелким, но вскоре хлынул ливень. Небо укрылось в чёрных тучах, ветер, словно сорвавшись с цепи, в лесу стал выламывать всё, что плохо стояло, а Мишу с Валеркой на дороге валить с ног. Мокрые и озябшие, они спрятались под лиственницей. А небо раскалывалось от грома и молний. От грома закладывало уши, а от молний темнело в глазах, жалобно скулил Шарик. Когда прошла гроза и Миша с Валеркой вышли на дорогу, их трясло, как в лихорадке.

– Пошли домой, – захныкал Валерка.

И тут на дороге появилась машина.

– И кто такие? – весело спросил шофёр, усаживая Мишу с Валеркой в кабину.

– Мы, дяденька, заблудились, – ответил Миша.

– Заблудились? Ну, что ж, хорошо, а где ваш дом? – продолжал расспрашивать шофёр.

– В Магадане, – не переставал врать Миша.

Конечно, если бы он знал, что до Магадана семьсот с лишним километров, он бы не сказал, что они здесь заблудились.

– В Магадане, значит, – рассмеялся шофёр. – Ну, что ж, хорошо. Аккурат туда и еду.

Высадил шофёр Мишу с Валеркой в их посёлке.

– Идите, ребятки, домой, навоеваться ещё успеете, – сказал он им на прощание.

Беглецов на фронт в то время на Колыме было много, и догадаться, что такие Миша с Валеркой, ему было нетрудно.

Домой Валерка с Шариком кинулись бегом, пошёл домой и Миша. Дома никого не было, отец и мать были на работе. По тому, что мать оставила ему на столе обед, он понял: его ещё не хватились.

Вечером у Миши поднялась температура, а ночью он бредил. Ему казалось, что за ним кто-то гонится и хочет его зарезать, дорога, по которой он убегает, вся в глине, и он в ней тонет, по сторонам горят костры, у них стоят высокие, чуть не до неба, люди в белых балахонах, под балахонами у них ножи, и они тоже готовы зарезать Мишу. «Мама, мама!» – зовёт Миша, но вместо мамы он видит морщинистую старуху, она наклонилась над ним и плачет.

Потом Миша видит человека в белом халате, он гонит от кровати старуху, а его спрашивает: «Ну-с, молодой человек, и где это вы простудились?»

Пришёл в себя Миша утром. У кровати сидела мать, у неё было заплаканное лицо, а отец стоял у окна и курил. А за окном было голубое небо, светило солнце и пели птицы.

После горячего молока, которым его напоила мать, Мише захотелось спать. Уже засыпая, он подумал: «А на фронт я всё равно убегу».

VII

В райисполкоме Ксюшу определили учителем младших классов в сельскую школу. Вёз её туда на лошади мужичок с мелко сморщенным лицом и впалой, как у чахоточного, грудью. Вместо левой ноги у него был деревянный протез.

– А как вас звать? – спросила Ксюша.

– Звать-то? А Егоршей меня звать, – ответил мужичок.

– Егором, что ли? – не поняла Ксюша.

– А зови и Егором. Мне всё одно, – согласился мужичок и подхлестнул лошадь вожжами.

Лошадь не ускорила шаг, а, наоборот, встала.

– У-у, холера! – выругался Егор. – Счас её хоть колом. Не стронется, пока своё не выстоит.

А лошадь, тяжело вздохнув, повернула голову и уставилась на Ксюшу, похожим на оловянную ложку, глазом. Ксюше даже показалось, что смотрит она на неё с любопытством. «Наверное, это потому, что я здесь новенькая», – подумала она. Выстояв своё, лошадь тронулась дальше. Опять заскрипела телега, и застучало привязанное к ней сзади ведро.

– Вот я и говорю. Хоть сколько живи, а помирать одна надо, – словно продолжая уже начатый разговор, сказал Егор, и, скрутив сигарку, закурил. – Сусид мой, – продолжил он, – я, грит, Егорша, тебя старшее, а помирать не собираюсь. Ну, дак ладно, не помирай, живи на здоровье. Ан нет! И три дни не прошло, как помер.

– А отчего помер? – спросила Ксюша.

– А лешак его знает. Говорят, под сердцем захолонуло, – ответил Егор, – оно, конечно, был бы у нас фершал, может быть и не помер.

«Господи, – испугалась Ксюша, – а что будет с Ирой, если заболает?»

– Да ты не пужайся, бабка у нас есть, Кондратиха, она заговоры от детских болезней делает, – словно догадавшись, о чём подумала Ксюша, успокоил её Егор.

Унылые поля, засеянные овсом, скоро кончились, дорога пошла по луговым сенокосам. Запахло свежескошенной травой, с реки потянуло прохладой, в небе зазвенели жаворонки, застрекотали в траве кузнечики. «Ах, хорошо-то как!» – забыла Ксюша о своих опасениях за Иру, и, распеленав, решила показать её Егору.

– Ни в коем разе! – вскричал он. – У меня сглаз нехороший.

В село приехали, когда уже закатывалось солнце. Оно ещё не остыло от полуденного зноя, и, казалось, прятаться за горизонт не торопится.

В селе было тихо, словно всё в нем вымерло, никто не ходил по улице, не лаяли собаки, сидевшие на тополях вороны, казалось, уже уснули. Дальше колхозного правления, за которым стояли конюшни, лошадь не пошла.

– У-у, холера! – выругался Егор и повёл её на конюшню.

Вернувшись, сказал Ксюше: «В сельсовете уже никого нет. Дак ночевать у меня будете».

Встретила Ксюшу жена Егора.

– Проходите, проходите, – ласково пригласила она её в избу и стала собирать на стол.

Худая, как и Егор, с такой же впалой грудью, отличалась она от него острым, как сосулька, носом, и большими, словно снятыми с чужого лица, глазами.

– Доча, – обратилась она сидевшей на скамье полно сложенной девице, – сбегай в погреб, принеси кваску.

– Счас, – ответила дочь и убежала за квасом.

Вернувшись, спросила отца: «Тятенька, привёз?»

– Привёз. Привёз, – улыбаясь, ответил отец и достал из сумки платок, расцвеченный под красные розы.

– Ой, спасибо, тятенька! – обрадовалась дочь и убежала с платком на кухню.

– Невестится, – заметил ей вслед отец.

Вернувшись с платком на голове, словно невеста на выданье, смущённой, она спросила: «Мам, как?»

– Лутшее и не надо, – ответила мать.

Ужинать пригласили Ксюшу за стол. Ели картошку в мундирах с квасом. Дорогой Ксюша так проголодалась, что её не смущали бегающие по столу тараканы. А за окном уже стояли вечерние сумерки, но лампу в доме не зажигали.

– Карасина нету, – объяснил Егор.

На ночь Ксюшу с Ирой положили на кровать, Егор с женой легли на пол, а дочь их ушла к подруге. Уснуть Ксюша долго не могла. Стоило закрыть глаза, как ей казалось, что она увидела сон. Едут они с Егором уже не среди засеянных овсом полей, а по луговым сенокосам. Запах свежескошенной травы кружит Ксюше голову, в голубом небе светит ласковое солнце, собравшиеся на полуденный отдых косари поют песни, мальчишки купают в реке лошадей.

А у дороги стоит девочка, у неё круглое, всё в конопушках лицо и выгоревшие на солнце ресницы, она ласково улыбается Ксюше, а потом бежит за телегой и просит: «Покажите Иру!»

Покажите Иру!»). Ксюша и рада бы показать ей Иру, но не делает этого, так как боится, что у девочки, как и у Егора, нехороший сглаз.

Проснулась Ксюша оттого, что её кто-то больно укусил в плечо. Не прошло и минуты, укус повторился. «Клопы!» – бросило её в жар. Завернув Иру в одеяло, она выскочила с ней на улицу. Была уже полночь, на небе стояла большая и безразличная ко всему луна, проплывавшая под ней туча была похожа на ледяную глыбу. «Господи, что со мной будет?!» – сжалось сердце у Ксюши, и крепко прижав к себе Иру, она горько заплакала.

VIII

Партизаны пустили под откос поезд с важным стратегическим грузом. О времени прохождения его они узнали из показаний пленного немца. А через два дня лагерь окружили немцы. Завязался неравный бой. У немцев были два танка и несколько артиллерийских орудий, а у партизан, кроме винтовок, пулемёта и гранат, ничего не было.

Один танк вывел из строя Гриша. Приказав партизанам открыть огонь по фашистам, что шли за танком, он сзади вскочил на его башню и бросил в смотровую щель две гранаты. Другой танк, пройдя по лагерю, оставил от него развалины. Хорошо, успели партизаны увести из лагеря женщин за болота, пройти куда танки и артиллерийские орудия не могли. Чтобы не положить отряд под немецкие пули, с небольшой его частью Гриша бросился на прорыв в сторону железной дороги. Немцы, полагая, что на прорыв пошёл весь отряд, стянули сюда основные силы. Это позволило Белобородько со своей частью партизан скрыться за болотами.

Уже у железной дороги Гриша был ранен и взят в плен. По офицерской на нём гимнастерке немцы определили, что это не рядовой партизан, а один из командиров, и поэтому расстреливать его на месте не стали, а доставили в город, чтобы получить от него сведения о численности и расположении партизанских отрядов.

Допрашивал Гришу обер-лейтенант Краузе. На первом допросе он сказал: «Я знаю русски офицер. Он большой любитель свой родина и готов отдавать ей свой голова. У вас, Решетов, родин нет, победоносны немецки войска её оккупировал. Ваш голова отдавайт некому. Скажите, какой численность и где расположен партизански соединений».

На вопрос Краузе Гриша не ответил, а сказал, что его победоносные войска уже давно драпают в Германию.

– О, это не драпайт! – не согласился с ним Краузе. – Это маленьки тактически хитрость. Русски надо делайт ловушка.

На первом допросе Гришу не били, но на втором помощник Краузе уже бил его палкой по пяткам и тушил на лице сигареты. У него была тупая и жирная, как у свиньи, физиономия, по-бабьи толстый зад. Делал он своё дело с полным безразличием к тому, что под его руками. В перерывах между пытками ел сало и докуривал затушенные на лице Гришы сигареты.

Не добившись от Гриши ничего, немцы его оставили, а потом бросили в вагон проходящего через город эшелона с советскими военнопленными. Чтобы подобрать верных товарищей для побега, Гриша стал присматриваться к тем, кто с ним рядом. В пропахшем потом, грязью и гноем в вагоне все военнопленные, казалось, ничем не отличались друг от друга. У всех были серые, как у покойников, лица и лихорадочно блестящие от голода глаза, многие с трудом передвигались по вагону, были такие, кто уже не вставал с нар. Выделялся военнопленный с узким, в лопаточку лицом, и маленьким, как у мыши, глазами. Он мало сидел на месте и ко всем приставал с разговорами.

Подойдя к Грише, спросил: «Товарищ, вы не скажите, куда нас везут?».

– На тот свет, – вместо Гриши ответил кто-то с нар.

– На тот свет мы сначала фашистов отправим. Правильно я говорю, товарищ? – снова обратился к Грише узколиций военнопленный. А потом, осмотревшись по сторонам, тихо спросил, – я слышал, ваша фамилия Решетов. У вас никого из родственников на Колыме нет?

– Дядя у меня там, геолог, – ответил Гриша.

– Господи! – всплеснул руками военнопленный. – Уж не Антон ли Николаевич?! Да мы с ним не один пуд соли вместе съели, из одной чашки-ложки суп в тайге хлебали, друзьями были не разлей-вода, про нас так и говорили: эти друг за друга и голову положат.

Перед Гришей был Асик. Он ещё долго распинался перед ним о своей дружбе с Антоном Николаевичем, говорил, что и Ирэткэна с его женой дружили, и они были не разлей-вода. Когда Асик уходил от Гриши, один из военнопленных бросил ему вслед: «Сука!», – и, обратившись к Грише, сказал: – «Берегитесь его. Я с ним на кухню за баландой вчера ходил. Видел, как он перед немцами гнулся. Они ему: «gut, gut¹⁵», а он им: «Deutschland vor allem¹⁶». Думал, что я немецкого не знаю. Для него, суки, оказывается, Германия превыше всего.

Говорил это Грише военнопленный, в отличие от других сохранивший здоровый вид. У него были широкие плечи, крупные черты лица и тяжёлые руки.

– Кузьмичёв, – представился он Грише.

Начались польские земли. Здесь ничего не говорило о войне. На полях зрели хлеба, на лугах шли сенокосы, над лесными массивами кружили птицы, на зелёном мелкотравье мальчишки пасли коров и гусей, и не верилось, что где-то рушатся города, горят сёла, льётся кровь и гибнут люди. В Познани всех военнопленных вывели из вагонов и построили в две шеренги. Потом под конвоем автоматчика на насыпь вывели избитого в кровь военнопленного. Один глаз у него был выбит, из него всё ещё сочилась кровь. Затем перед строем появился немецкий офицер. Он поднялся на сложенные в штабель шпалы и сказал: «Этот зольдат делал попытка завешить побег. Поднял рука на немецки охрана, наносил ей телесны повреждений. За это мы его будем наказать. Как говорит русски пословиц: за всё надо отдавать плата».

По его знаку на военнопленного спустили двух собак. Они сразу сбили его с ног, одна стала рвать ему ноги, вторая пыта-

¹⁵ Хорошо, хорошо (нем.)

¹⁶ Германия превыше всего (нем.)

лась вцепиться в горло. Обороняясь, военнопленный ухватил вторую за уши, но далеко удержать от себя её не мог, и она стала кусать ему лицо. Схватка была недолгой. Не прошло и минуты, как военнопленный лежал с разорванным горлом.

В вагоне Гриша слышал, как Асик говорил соседу: «Ничего, придёт время, и мы их будем рвать собаками».

А обращаясь к другому военнопленному, спрашивал: «Правильно я говорю, товарищ?».

«Втирается в доверие», – понял Гриша.

Когда эшелон с военнопленными пересёк западную границу с Польшей, стало ясно: везут в Германию.

IX

Жизнь на прииске и летом не отличалась большим разнообразием. И днём, и ночью работали промприборы, стребая к бункерам пески, не спеша ползали по полигонам бульдозеры. Днём в посёлке стояла тишина, все были на работе, ребяташки уходили в лес за грибами и ягодой, ночью свободные от работы, крепко спали, не лаяли собаки, одни дремали в своих подворьях, другие копались в помойках. Редко в посёлок залетали вороны. Корма им хватало и в лесу.

Антон вставал рано. Пересиливая неохоту, делал зарядку, сполоснув лицо, завтракал и шёл на работу. День начинался с раскомандировки у Зубова, потом Антон шёл на полигоны, проверял, там ли берут пески, на новых учитывал объёмы вскрыши, определял место проходки копуш для отбора проб. Вернувшись вечером в кабинет, пополнял геологическую карту и планы горных работ, намечал дела на завтра. В конце месяца его вызывал к себе главный геолог управления Мизин.

– Ну-ну, посмотрим, что вы тут нам привезли, – говорил он, – раскладывая на стол материалы Антона.

После истории с золотом на Глухом, за которое от начальства он получил выговор, Мизин невзлюбил Антона. Но зная, что за его спиной стоит Зубов, а за спиной Зубова начальник геолого-разведочного отдела «Дальстроя» Градский, нелюбовь к нему скрывал. Провожая Антона, всегда справлялся о его

здоровье и передавал привет Ирэткэне.

Раз в месяц Крайнец проводил собрание партийцев. Повестка дня была одна: итоги, задачи, разное. О врагах народа он уже не говорил и партийцев на поиски их не нацеливал. В итогах он пережевывал то, что говорил Зубов на раскомандировках, в задачах повторял то, что было принято в социалистических обязательствах. Партийцы его плохо слушали, все ждали конца собрания, а отстоявшие ночную смену дремали. В «разном» шли персональные дела. Разбирали тех, кто плохо относился к работе, недостойно вёл себя в семье, выносили им выговоры, рекомендовали к увольнению. Наказывать людей Крайнецу нравилось. Он подтягивался, лицо его обретало строгое выражение, а когда выходил на трибуну с предложением о наказании, казалось, становился выше ростом. Зубов на собрании больше молчал, было видно, что всё это ему давно надоело, и он, как все партийцы, с нетерпением ждал, когда закончится собрание.

Назначенный по рекомендации Зубова начальником Митина прииска Горбатов, приезжая к нему за помощью в укомплектовании прииска горным оборудованием, часто заходил к Антону. Ирэткэна готовила ужин, Антон доставал бутылку водки, и они надолго засиживались в дружеских разговорах. Обсуждали дела текущие, вспоминали довоенное прошлое, в котором не угодили за колючую проволоку только потому, что крепко держались друг за друга.

– Антон Николаевич, переходи ко мне главным геологом, – предлагал Горбатов.

Главный геолог у Горбатова был, но опыта в работе на золоте у него не было, он всё ещё находился в плену теорий, взятых на студенческой скамье.

– На полигоны, подлец, с книжкой ходит, – рассказывая о нём, смеялся Горбатов.

В августе после долгого засушья начались лесные пожары. Всё затянуло дымом. В посёлке стало нечем дышать, а вскоре огонь стал подбираться к его окраине, расположенной у сопки. На тушение пожара Зубов направил Антона, отрядив ему для

этого людей, знающих лесные пожары не понаслышке. Пожар, угрожающий посёлку, решили тушить встречным палом. Выдав каждому по коробку спичек, Антон рассредоточил людей в цепь, вытянутую вдоль фронта огня. «Только бы никто не ударился в панику и не бросился бежать», – думал Антон. Он знал, что по пропитанному смолой кедровому стланику пожар распространяется со скоростью скаковой лошади, в лиственном лесе скорость распространения снижается, но и здесь убежать от него никто не сможет.

Приближавшийся к посёлку пожар представлял собой страшное зрелище. Огонь пожирал на своём пути всё, что горело, от него со свистом, разрезая воздух, в одиночку и стаями неслись куропатки, за ними, тревожно каркая, спешили вороны. Попав в воздушные вихри, вороны металась так, словно там их били палками. За птицами, сломя голову, бежали звери. Первыми неслись олени похожие на стрелы, выпущенные из лука. Обезумев от страха, они бились в густых зарослях леса, ломали ноги на болоте. Зайцы, выскочив из подлеска, металась, как в клетке. Совсем одурев, часть из них бросалась обратно, в сторону пожара. А огненный вал был всё ближе и ближе. Он гудел со страшной силой, казалось, горела не только тайга, но и небо. Солнце, словно кусок растрескавшегося на огне металла, пробиваясь сквозь вихри дыма, казалось, стремились к единству с разбушевавшейся огненной стихией. Закладывающая уши тишина наступила внезапно. Это случилось, как только снизу воздушные потоки потянуло в сторону пожара.

– Па-али! – скомандовал Антон.

Высохший от пожара лесной опад и напоённый смолой стланик вспыхивали порохом, как только в них попадала зажжённая спичка. Встречный пал набирал силу. Две родственные по природе стихии столкнулись на склоне сопки. Раздался взрыв, сотрясающий всё вокруг. Словно выпущенные из пушки, с треском полетели вверх камни, вслед взметнулся растерзанный на пылающие куски древостой. Ударная волна выбросила в небо тучу чёрного пепла. Большая, выжженная палом полоса, оставила огненную стихию.

Х

Оставив Иру с женой Егора, Ксюша пошла в сельсовет, чтобы определиться с жильём. Улица, по которой она шла, была одна на всё село. Раскинутые по ней избы были такими ветхими, что казалось, в них уже никто не живёт. Не было видно уборных: для отправления своих надобностей люди ходили за сараи. На огородах, казалось, растут только сорняки. На одном из них женщина подкапывала картошку, складывая её в подоткнутую за пояс юбку. Увидев Ксюшу, она оставила картошку и вяло, как спросонья, уставилась на неё, а когда Ксюша поздоровалась с ней, женщина не ответила.

За очередным поворотом улица вышла к реке. Широкая и полноводная, она не торопливо несла свои воды. На берегу сидели похожие на татар люди, они что-то варили на костре у поставленных на просушку лодок. Под лодками в тряпье копались дети. Как потом узнает Ксюша, это были шорцы, потомки древних тюркских племён. Летом они промышляли на реке рыбой, к осени уходили в тайгу, били кедровые орехи, весной собирали колбу, охотились на оленей, ловили на петли рябчиков. На другом берегу реки всё было в черёмухе, за ней шли берёзовые рощи и сенокосы.



Недалеко от шорцев ловил рыбу на удочку рыжий мальчик. Он, не отрываясь, смотрел на поплавок и, кажется, ничего вокруг себя не видел. Не отмахивался от наседавших на него паутов, не гнал от себя собравшихся за спиной шорских ребяташек.

– Донька, иди домой, тятя приехал, – позвала его появившаяся у реки девочка.

Собрав рыбу в ведёрко, мальчик пошёл за ней.

Школу Ксюша сразу узнала. У здания были большие, под крышу, окна, крашенные в коричневый цвет высокие двери, широкое крыльцо.

– А чаго не посмотреть, – пропуская в дверь Ксюшу, сказал сторож.

Основную часть школы составлял вытянутый в пенал зал. Сейчас в нём было сыро и холодно, при появлении Ксюши большая серая крыса выскочила из-под пола и убежала в раскрытые двери одного из классов. Классы были небольшими, в каждом из них стояли сложенные из кирпича печи. В учительской, кроме глобуса и доски с расписанием уроков, ничего не было. И здесь из-под пола выскочила крыса. Пометавшись из угла в угол, она скрылась в той же дырке, из которой выскочила.

– А что это крыс так много? – спросила Ксюша у сопровождавшего её сторожа.

– А холера их знает, – ответил сторож. – Киску заводили, так они её на второй день слопали.

За школой Ксюша увидела поросшую крапивой и дикой малиной грудку щебня и битого кирпича.

– До революции-то тут церковь была, – сообщил сторож.

Сейчас на этой грудке стояла босоногая девочка и собирала в подол малину. Увидев Ксюшу, она бросила малину и скрылась за углом школы.

Недалеко от школы стоял магазин, по-местному, сельпо. Из продтоваров в нём кроме конфет в подушечку, кильки в томатном соусе, водки и соли ничего не было, на полках с промтоварами лежали шевиотовые ткани, в углу, за ящиком с гвоздями, стояли большие, непонятно на кого, валенки.

За магазином Ксюше встретился слепой, с длинной бородой старик. Глаза его были скрыты белой роговицей, дорогу он ощущивал длинной палкой.

– Дедушка, вам помочь? – спросила Ксюша.

– Ай, не наша? – вскинул на неё старик бороду. – Наших-то я, почитай, всех по голосу узнаю. Не-е, – отказался он от помощи, – я по этой дороге сызмальства хожу.

За магазином дорога сузилась до поросшей лопухами тропы. Из-под одного из них на тропу вывела курица цыплят. Рассыпавшись вокруг неё желтыми комочками, они стали склёвывать с земли всё, что годилось в пищу. «Какие милые», – подумала о них Ксюша.

В сельсовет Ксюша не торопилась. Она решила осмотреть всё село, чтобы знать, где ей придётся жить. Наверное, ни один год. Немцы, хоть и отступали, но всё ещё были на нашей земле.

Выйдя по переулку за село, она увидела пасущееся на лугу стадо коров. Они лениво отмахивались хвостами от оводов. В стороне, в плаще до земли, стоял пастух, казалось, он врос в землю. На другом конце стада на земле сидел подпасок, рядом с ним лежала лохматая собака. Когда корова отбивалась от стада, подпасок бежал к ней, хлестал её бичом, а собака на неё лаяла.

А над стадом стояло голубое небо, ярко светило солнце, далеко убегали берёзовые подлески.

При подходе к сельсовету Ксюша услышала душераздирающий крик. Кричала женщина, она металась по крыльцу дома и рвала на себе кофту. Из калитки, вся в слезах, выбежала почтальонша. «Похоронка», – поняла Ксюша, и у неё сжалось сердце: «Гриша, где ты?».

Председатель сельсовета встретил Ксюшу доброжелательно. У него было открытое лицо, голубые глаза и нос в небольшую луковичку. Пустой рукав гимнастёрки, заправленный под солдатский ремень, говорил о том, что он недавно с фронта.

– Война войной, а жить надо, – сказал он Ксюше, и попросил секретаршу: «Людочка, отведи-ка Ксению Ивановну к бабе Дуне». И снова обращаясь к Ксюше, сказал: «Бабка – лучше не надо. Да и с девочкой вашей водиться будет».

Вечером Ксюша написала письмо на Колыму дяде Антону, в нём она спрашивала: не знает ли он что о Грише.

ХІ

В концлагере Гриша, Кузьмичёв и Асик попали в один барак. Гриша с Кузьмичёвым стали готовиться к побегу, а Асик, втираясь в доверие к заключённым, приставал к ним с разговорами. Иногда вечером его вызывали в канцелярию лагеря. Возвращался он с запахом спиртного.

– Шнапс, падла, с немцами пьёт, – говорил Кузьмичёв.

После того, как военнопленного, который при Асике говорил Грише и Кузьмичёву о том, что надо не выходить на работу, пока не будут кормить лучше, расстреляли, сомнений в том, что Асик стукач, уже не было. Вскоре его нашли в дерьме канализационного колодца. Теперь Грише с Кузьмичёвым готовиться к побегу можно было смелее.

Помогли бежать им пленные французы. К ним немцы относились лучше, чем к русским. Им не запрещалось получать посылки из дома, в воскресенье они не работали, в этот день им разрешалось выходить из барака, использовались они на лёгких работах: убирали территорию лагеря, прожаривали одежду заключённых от вшей, иногда их увозили на фермы, где они косили сено и убирали поля.

Раз в месяц в лагерь на лошадях, запряжённых в тяжёлые телеги с высокими коробами, приезжали фермерские работники за пеплом, собираемым при сжигании человеческих трупов в крематории. Пеплом в своих полях немцы удобряли земли. Загружали им короба французы. В одном из таких коробов они спрятали Гришу с Кузьмичёвым и засыпали их пеплом. Зная, что на выезде из лагеря для предотвращения побега заключённых охрана протыкает пепел острыми металлическими штырями, французы укрыли Гришу с Кузьмичёвым деревянным щитами.

Оказавшись на воле, Гриша с Кузьмичёвым решили пробираться во Францию. Там, как говорили пленные французы, действуют партизанские отряды Движения Сопротивления. Окольными, в стороне от населённых пунктов, путями Гриша с Кузьмичёвым добрались до Франции через неделю.

Во Франции глухих лесов мало, поэтому партизаны нередко

скрывались не в лесу, а в незанятых немцами деревнях. Как и в Польше, которую видел Гриша из окна вагона, и во Франции не было разрушенных городов и сожжённых деревень. И здесь на полях зрели хлеба, на лугах шли сенокосы, мальчишки пасли коров и гусей, а в городах в непотрёпанных войной мундирах немцы зря не стреляли. А если стреляли, то где-то за городом, и выстрелов их никто не слышал, по вечерам они ходили в рестораны и театры. Казалось, немцы во Франции лишь для порядка. Нельзя же, чтобы на оккупированной территории совсем не было оккупантов. Да и жизнь партизан здесь заметно отличалась от той, что испытал Гриша в лесах Белоруссии. Не было среди французских партизан голода, не заедали их вши, и хотя они тоже говорили: «Отчество превыше всего», маленькие радости жизни не забывали: вечерами пили вино. На ночь уходили к своим подружкам. Однако это не мешало им быть решительными и смелыми в боевых операциях. От природы склонные к импровизации и артистическим перевоплощениям, они были прекрасными подпольщиками.

Первое боевое крещение во Франции Гриша с Кузьмичёвым получили зимой. В одной из деревень немцы изнасиловали девушку, отец её из охотничьего ружья открыл по ним огонь. Отца девушки и его усадьбу немцы сожгли из огнемёта, а вечером, уже пьяные, ворвались в костёл. Непонятно зачем, убили двух прихожан. Партизаны решили немцев уничтожить, но сделать это было непросто. Немцы скрывались в замке расположенном рядом с деревней. Со стенами в крупной каменной кладке, он имел один въезд, который закрывался массивными железными воротами. Переодевшись под немцев, с Кузьмичёвым в форме майора гестапо, партизаны подъехали к воротам замка. Когда их спросили: кто такие, Кузьмичёв ответил: «Geheime Stootspolizei¹⁷». Чтобы совсем сбить с немцев с толку, уже в замке, один из французов, переодетый в форму военного медработника, у подскочившего к нему немецкого офицера спросил: «Wo ist der Kranke?¹⁸»

¹⁷ Тайная государственная полиция (нем.)

¹⁸ Где тут больной (нем.)

Пока немцы разбирались, кто это к ним нагрянул, и кто это у них больной, партизаны рассредоточились по удобным позициям и открыли огонь. Не ожидавшие нападения, немцы попрятались, кто где мог. Пришлось выкуривать их по одному. Многие из них без сопротивления сдавались в плен. После окончания боя их расстреляли.

Как и у белорусских партизан, и у французских держать пленных немцев было негде.

– *A la guerre comme a la guerre*¹⁹, – говорили французские партизаны.

В январе партизаны узнали, что советские войска на голову разбили немцев под Сталинградом. Гришу с Кузьмичёвым качали на руках, высоко подбрасывали и кричали: «Hourra! Hourra! Viva la Russie!²⁰»

А вечером, празднуя победу советских войск за бокалом вина, они наперебой их звали: «*Venez a notre table*²¹».

ХII

Умерла Ирэткэна. У неё уже давно прихватывало сердце. «У кого оно сейчас не болит», – отмахивалась она от вопросов. При возвращении с работы в подъезде у неё, как обручем, сдавило грудь, потемнело в глазах, и подкосились ноги. «Этого ещё не хватало», – успела подумать она.

Свалившуюся на него беду Антон пережил тяжело. Он сильно похудел, никого, кто приходил с сочувствием, не хотел видеть, ночью без рюмки водки не мог уснуть, в коротких снах видел Ирэткэну, она плакала и всё просила беречь Мишу. Утром у Антона не было сил подняться с постели, а когда, пересилив себя, вставал, у него кружилась голова и темнело в глазах.

Тяжело пережил смерть матери и Миша. Он замкнулся в себе, не стал выходить на улицу, спрятавшись от отца на кухню, часто плакал. О побеге на фронт уже не думал.

Похоронил Ирэткэну Антон на Эмтегейском кладбище ря-

¹⁹ На войне как на войне (фр.)

²⁰ Ура! Ура! Да здравствует Россия! (фр.)

²¹ Идите к нашему столу (фр.)

дом с Сарданой. Когда копали могилу и опускали в неё Ирэткэну, на кладбище дул ветер, на могиле Гермогена скрипела калитка, с низкого, в чёрных тучах неба шла крупа.

Закопав Ирэткэну, все ушли с кладбища, остались Антон с Мишей. Антон допивал взятую с собой водку, Миша, утирая рукавом слёзы, плакал. А ветер всё усиливался, из снежной крупы он уже мёл позёмки, а когда налетали вихри, они срывали оставшиеся на деревьях листья и высоко поднимали их в небо.

Неожиданно у могилы Ирэткэны появился человек в военной форме.

– Простите, – сказал он. – Если помешал, я уйду.

Военный оказался сыном отца Парфёна. Служил он в лагерной охране, о том, что рядом могила отца, узнал случайно от якута, отбывающего в лагере срок.

Антон обратил внимание на то, что военный был очень похож на отца. У него тоже были хилое телосложение, узкое лицо и маленький, серого цвета нос, не хватало только козлиной бородки. Узнав, что Антон с отцом Парфёном прожил много лет, военный воскликнул: «Милый человек, расскажите мне о нём».

Рассказал Антон об отце Парфёне всё, что помнил: о том, как он по-доброму, с открытым сердцем относился к иноверцам, как обращал их из басурманской веры в православную, давал им русские имена и медные крестики, как приобщил его, Антона, к богу и обучал грамоте.

Рассказал он и о том, что отец Парфён никому не делал зла, а в доме Решетовых покой и душевное благополучие держались в нём. Когда Антон сказал, что отец Парфён думал только о своих детях, надеялся, что, вернувшись с Колымы богатым, поставит их на ноги, военный отвернулся от него и, как показалось Антону, заплакал. Звали военного Василием.

...Всё, что окружало Антона после смерти Ирэткэны, напоминало о ней. Вот её, теперь уже никому не нужные платья и недавно купленные ботинки, а в углу швейная машинка, на которой она шила Антону и Мише рубашки, в платяном шка-

фу – простыни и наволочки, их она стирала и гладила каждую неделю, на комодe – ваза, в которой она держала нитки, иголки и пуговицы, летом в ней стояли полевые цветы.

Антон надеялся, что всё это со временем пройдёт, он привыкнет к тому, что Ирэткэны нет, и всё, что его окружает, напоминает о ней не будет. Этого не получилось. Наоборот, утрата Ирэткэны становилась всё горше, а ночами Антону казалось, что она ходит по дому, разговаривает с ним, а Мишу, присев к его кровати, гладит по голове и плачет.

«Так дальше не пойдёт», – решил Антон. И когда Горбатов снова предложил ему перейти на прииск Митин главным геологом, он согласился.

На новом месте боль утраты Ирэткэны стала постепенно утихать. Устроил его Горбатов с Мишей в тёплом бараке, в однокомнатной квартире с отдельной кухней.

Всё хозяйство по дому взял на себя Миша. Он топил печь, варил обеды, мёл пол, раз в неделю его мыл, ходил в магазин за продуктами.

– Какой молодец! – хвалили его соседи, а когда предлагали ему помощь, он отказывался:

«Я не маленький».

И учиться Миша стал лучше. Хорошо у него шла арифметика, всю таблицу умножения он знал как дважды два. Вечерами каждый занимался своим делом. Антон просматривал взятые из конторы бумаги и делал какие-то расчёты, Миша выполнял домашние уроки. Тикали на стене часы, отсчитывали они, казалось, не время, а что-то другое, потому что в наступившей после хлопотного дня тишине время, казалось, время стоит на месте. У ног Миши тёрся кот, он хотел, чтобы его взяли на руки, а в печи потрескивали дрова, на плите сердито пыхтел чайник.

Когда отец ложился спать, Миша, отложив уроки в сторону, садился к окну. За ним стояла тишина, укрытый в сугробах снега посёлок казался мёртвым, в холодном небе стыли звёзды, большая, чуть не во всё окно луна, не спешила уходить с неба. Мише казалось, что и на луне живут люди, и там есть свои

моря и горы, в морях водится рыба, в горах пасутся олени и бродят медведи. Люди там, казалось Мише, не воюют друг с другом. Если бы воевали, было бы видно, как рвутся там снаряды и летают самолёты. «Наверное, на луне нет немцев», – догадывался Миша, почему там не воюют.

По случаю разгрома немецких войск под Сталинградом на прииске состоялся митинг. Произносились громкие речи, играла музыка, вечером в клубе состоялся концерт. На нём читали военные стихи Константина Симонова, пели частушки про Гитлера, в которых предрекали ему обязательный капут, плясали под весёлую гармонию, а в буфете мужики пили продаваемое на разлив вино. Подпитые, они собирались в курилке, обсуждали там военные дела, говорили о том, что немцам русских никогда не взять, потому что у русских и боевой дух выше, и силы больше.

ХIII

Ксюша совсем упала духом, когда письмо, которое написала дяде Антону на Колыму, вернулось с пометкой: «адресат был». Теперь, даже если объявится Гриша, он, не зная, где она живёт, не найдёт её и через дядю Антона. Из Москвы, из отдела розыска потерявшихся на войне, ей сообщили о том, что её муж, Решетов Григорий Григорьевич, числится без вести пропавшим.

А занесённое снегом село казалось уже всеми покинутым. Снежные сугробы стояли под крыши, укрытые ими тропы не чистились, в окнах по ночам не зажигались огни, лениво поднимавшийся по утрам дым из труб, казалось, идёт не от натопленных печей, а из-под земли, от тлеющей в ней соломы. По селу ходили слухи, что ночью по улице бегают свинья, которая на самом деле не свинья, а колдунья, в неё превратившаяся. Однажды она привязалась к возвращавшемуся из совхозных конюшен мужику, а он, не будь дураком, накинул ей на шею вожжи, привёл домой и привязал к ограде. Когда утром проснулся, у ограды увидел сидящую на вожжах свою соседку.

Почитаемым человеком в селе была Кондратиха. Она гадала

на картах, снимала сглазы, лечила разные болезни. На гадания к ней шли бабы, измучившиеся в ожидании потерявшихся без вести мужей.

– А ты, девка, не бойсь, – говорила она им, – мужик-то твой жив. Вот он, и вдругорядь по масти выходит.

И по каким-то ей известным раскладкам карт определяла: у кого муж сидит в немецком концлагере, кто ходит в партизанах, а кто находится в тылу врага на подпольной работе. За снятием сглаза к ней ходили не бабы, а девки. Одним казалось, что от сглаза они страдают животами, другие говорили, что от него худеют, третьи жаловались, что у них от сглаза что-то не то по женской части. Всем казалось, что накладывает на них дурной сглаз злая соседка.

– А ты, девонька, как до ветру пойдёшь, – говорила Кондратиха, – на тоё место наперёд раскалённые уголья посыпь. А потом заверни их в тряпочку и кинь етой стерве на огород. И три дни не пройдёт, как рукой всё снимет.

От зубной боли Кондратиха давала порошок, толчёный из мышиноного помёта. В ячмень на глазу три раза плевала, приговаривая: «Ячмень, ячмень, вот тебе кукиш, что хочешь, то и купишь». Косоглазие лечила печёными яйцами, настоянными на керосине.

Весной в селе появились нищие. Шли они из города, говорили, что там сейчас большой голод, и люди едят собак и кошек. Им не подавали, боялись, что это не нищие, а воры. Когда сошёл снег, их трупы стали находить в копнах сена и в силосных ямах.

А Ксюша не знала, что делать со своим классом. Не было ни бумаги, ни чернил, ни перьев. На бумагу пришлось приспособить амбарные книги, которые директор школы привёз из города, чернила стали делать из смеси свекольного сока с печной сажой, вместо перьев вытачивали из прутиков острые палочки. С другой бедой справиться Ксюша не могла. Дети приходили в школу голодными и поэтому плохо её слушали. На одном из уроков от голода упал в обморок мальчик. С трудом отвадившись с ним, Ксюша послала за матерью. Увидев бледного

сына, мать заплакала, а прижав к себе, стала причитать: «Коленька милай, да за что же нам с тобой эти испытания, и зачем же наш тятенька положил на проклятой войне свою голову, оставил тебя несчастной сиротинушкой».

Когда Ксюша узнала, что мать Коли больна туберкулёзом и работать не может, она пошла к председателю сельсовета.

– Александр Петрович, – сказала она, – надо оказать помощь семье Смирновых. Мать больна, а сын её, Коля, сегодня на уроке от голода потерял сознание.

Выйдя из-за стола, председатель сельсовета стал нервно ходить по комнате, а потом, решив закурить, никак не мог скрутить одной рукой папироску. Словно от удара током, она судорожно дёргалась, табак сыпался на пол. «Да он ещё и контуженый», – поняла Ксюша. Закурив, председатель сельсовета спросил у секретарши: «Людочка, что у нас по совхозу?».

Заглянув в какие-то бумаги, Людочка ответила: «Жмых²², Александр Петрович».

– Отпиши Смирновой по пять кило в месяц, – приказал председатель сельсовета.

Провожая Ксюшу, он зачем-то сказал: «Кому война, а кому и мать родна».

Только позже Ксюша узнала, что в селе есть люди, которые наживаются на чужом горе. С объездчиками за каждый клочок сенокоса солдати расплачивались самогоном, а у кого его не было, расплачивались в постели, директор правления совхоза брал в магазине «за так» водку, а продавщица, для покрытия убытков, недовешивала и недомеривала.

Появилось в селе кулацкое отродье, оно за пустую похлёбку заставляло гнуть спину детей бедных родителей на своих огородах с раннего утра до позднего вечера, даже Кондратиха в своих услугах не была бескорыстной. За них она брала молоком, яйцами и картошкой. Не гнушались поборами и городские уполномоченные. Приезжали они с землемерами и грозили урезать частные огороды под какие-то только им известные

²² Остатки семян масличных растений после выжимания из них масел.

бумаги. Чем расплачивался с ними председатель сельсовета, чтобы они огороды не резали, никто не знал. Никто не знал какие проклятия он слал им в спины, когда они уезжали. От бабы Дуни Ксюша узнала, что у председателя сельсовета маленький сын, а больная жена уже не встаёт с постели.

XIV

С открытием союзниками Второго фронта и высадкой англо-американского десанта в Нормандии немцы во Франции перестали ходить в рестораны и театры. Wein, weiber und der gesand²³ отошли на второе место, на первое стало: как спасти шкуру. Там, где раньше звучало громко «Deutschland vor allem²⁴», теперь зло бросалось «Verfluchte Hitler²⁵». Кто понимал, что шкуру не спасти, зверствовал. Расстрелы шли уже не за городом, стреляли на улицах и в кафе, ворвавшись в квартиры, расстреливали целыми семьями. В поисках партизан прочёсывали городские кварталы, поднимали на ноги госпитали, при малейшем подозрении в сочувствии партизанам расстреливали на месте. Кто не зверствовал, но понимал, что им конец, тоже не сидели, сложа руки. Они с утра до вечера пили, а по ночам насиловали молодых француженок.

Партизаны понимали: только страх перед расплатой может остановить немцев. Наиболее озверевших, они по ночам стали вешать на улицах города, днём «поднимали» на воздух машины с высоким начальством. Но немцев это не останавливало, особенно свирепствовало гестапо. Решили совершить нападение на городское отделение гестапо. Сделать это решили так: Кузьмичёв, переодетый в форму немецкого офицера, под видом пойманных в городе партизан заведёт Гришу и ещё двух партизан в отделение. Там они откроют огонь по гестаповцам, а партизаны поддержат их снаружи. Получилось всё, как наметили, но в схватке погиб Кузьмичёв: спрятавшийся за дверью немец выстрелил ему в спину. Был тяжело ранен Гриша. Его

²³ Вино, женщины и песни (нем.)

²⁴ Германия превыше всего (нем.)

²⁵ Проклятый Гитлер (нем.)

²⁶ Как у тебя сегодня дела (фр.)

партизаны оставили в одной из деревень у надёжных людей. Сколько был без сознания, Гриша не знал, а когда пришёл в себя, увидел сидящую рядом голубоглазую девушку в цветном сарафане и с длинной косой.

– Comment allez-vous aujourd’hui?²⁶ – спросила она.

Так как Гриша кроме того, что надо было на войне, по-французски мало что знал, он её не понял. Улыбнувшись, девушка положила на голову Грише компресс, а когда в комнату вошла другая и тоже голубоглазая с длинной косой, она сказала: «*Se mon amil*²⁷» .

Эта девушка принесла Грише тёплого молока, а когда увидела, что он пришёл в себя, принесла ему ещё и белую булку. А за окном светило солнце, в голубом небе кружили птицы, готовясь к перелёту в тёплые края, они собирались в стаи, по вечерам Гриша слышал, как мычат возвращавшиеся с пастбищ коровы, блеют овцы. В мягкой с накрахмаленными простынями постели, на пуховых подушках Грише казалось, что и солнце в голубом небе, и готовящиеся к отлёту в тёплые края птицы, и голубоглазые девушки с длинными косами, и эта чистая постель, только сон, и стоит проснуться, как снова будут рваться снаряды, трещать автоматные очереди, гореть дома и гибнуть люди.

Поднялся Гриша на ноги, когда англо-американские войска и партизаны очистили от немцев Францию. Города, где брал гестапо, он не узнал. Улицы были очищены от мусора, застеклены окна, на клумбах уже цвели цветы, в одном из дворигов он увидел весело играющих в песочнице детей. Подошедшая старушка в модной шляпке и с ридикюлем в руках, ласково посмотрев на детей, сказала: «*Laissez-les s’amuser et que Dieu les bénisse*²⁸» .

Понимая, что старушка ничего плохого сказать не могла, Гриша ответил: «*Si, si*²⁹» .

Из партизанского отряда, в котором сражался Гриша, он ни-

²⁷ Это моя приятельница (фр.)

²⁸ Пусть веселятся, и да благословит их бог (фр.)

²⁹ Да, да (фр.)

кого не нашёл. Оказалось, после Парижского восстания, когда власть в стране перешла в руки Временного правительства, Движение Сопротивления было распущено, и партизаны разошлись по домам. После долгих мытарств Гриша оказался в зоне американских войск.

– О, russian , – встретили его американцы, – very good³⁰.

Они угостили его виски. По внешнему виду, и по поведению было видно, что американцы настоящего пороха не нюхали. В новых, с игопочки, мундирах, с лоснящимися, как после жирной еды, лицами, днём они весело проводили время в барах, хотя и называли территорию расположения своей части war seat³¹, а говоря о том, что they are always on alert³², на ночь шли к своим французским подружкам. Подружки им говорили: «Ma chere amie, vous homme tait³³».

– О, tair France!³⁴ – говорили американцы.

Вскоре Гриша заметил, что относятся к нему американцы с подозрительной осторожностью. В то время по Франции ходило много русских, одни из них, как и Гриша, воевали в партизанских отрядах, но были и такие, кого немцы здесь, в разведшколах, готовили для заброски в советский тыл. Кто такой Гриша, они не знали, несмотря на это, устроили его с жильём, прикрепили к кухне и одели в приличный костюм. Делать Грише было нечего, и он, надеясь встретить кого-нибудь из своего отряда, с утра до вечера бродил по городу. Ходил он и в деревню, где его поставили на ноги голубоглазые девушки с длинными косами. Там что-то праздновали. За длинным, сколоченным на скорую руку столом, под белыми в цвету вишнями играл аккордеон и пели песни.

– Venez a notre table³⁵, – позвали из-за стола Гришу.

Девушек за столом не было. Немного знающий русский язык поджарый, с длинными усами старичок сообщил ему, что де-

³⁰ О, русский ... Очень хорошо (англ.)

³¹ Театр военных действий (англ.)

³² Они всегда в боевой готовности (англ.)

³³ Мой дорогой друг, вы настоящий мужчина (фр.)

³⁴ О, прекрасная Франция (англ.)

³⁵ Идите к нашему столу (фр.)

вушки, как только закончилась война, из деревни уехали. И видимо, полагая, что Гриша приехал к ним по молодому делу, уже провожая, лукаво ему подмигивал, и всё повторял: «А вы, ma jeune amie, grand Don Juan³⁶», – и добавлял: «C'est très gentil³⁷».

Возвращался Гриша к американцам в плохом настроении. Он понимал, что без свидетельства французских товарищей по оружию о том, что он не служил здесь немцам, а участвовал в партизанском движении, никто не поверит. Да и подозрительная осторожность, с какой относились к нему американцы, ему стала в тягость. У столовой, с обратной её стороны, Гриша увидел долговязого американца, выносящего с кухни помои.

– Come here! Help me³⁸, – позвал он Гришу.

Гриша помог вынести ему помои и с тех пор остался при кухне рабочим.

После взятия Рейхстага нашими войсками и окончания войны в американскую зону приехал советский майор. Он собрал всех в городе русских и сказал: «Кто не был на стороне немцев, будет отправлен на родину и отпущен в свои семьи». В Германии, во Франкфурте, русских высадили из вагонов и закрыли в фильтрационный лагерь. Здесь выяснялось: кто есть кто, после чего одних садили в пассажирские вагоны и отправляли на родину, других закрывали в вагоны с зарешечёнными окнами и отправляли в казахстанские и колымские ГУЛАГи.

Допрашивал Гришу майор с жёлтым, словно высохшим на солнце лицом. Вид у него был уставший, видимо, таких, как Гриша, в этот день прошло через него много. Слушал он Гришу рассеянно, так как близился конец рабочего дня, он часто смотрел на часы, висевшие на стене.

– Всё это слова, – не дослушав, перебил он Гришу. – В подтверждение их – у вас никаких доказательств.

Да, – согласился с ним Гриша, – справок об участии в войне в партизанских отрядах не давали.

Таких, как Гриша, после войны было много, наводить справ-

³⁶ Мой молодой друг большой Дон Жуан (фр.)

³⁷ Это очень мило (фр.)

³⁸ Иди сюда! Помоги мне (англ.)

ки по каждому не хватало времени, и поэтому, на всякий случай, а вдруг да он не тот, за кого себя выдаёт, – дали ему пятнадцать лет колымских лагерей без права переписки.

Часть IV

I

В июне на прииск привезли большую группу молодых людей в возрасте от пятнадцати до семнадцати лет. В войну на подсобные работы они были угнаны немцами в Германию, а после неё уже наши власти девушек отпустили домой, а ребят бросили на подъём разрушенного войной хозяйства, а чтобы они и не думали о побеге домой, запрятали их в колымские глухомани. Все, кого привезли на прииск, были плохо одеты, ни у кого не было тёплой одежды. Было видно, что они истощены голодом и всё ещё не пришли в себя от долгой дороги, в телятниках до Ванино и в парходных тюрьмах до Магадана. С испуганными лицами они жались друг к другу, не спрашивали, куда их привезли. Что собираются с ними делать.

– Их-то за что? – не понял Антон.

– Как за что?! – удивился сопровождавший ребят кэгэбэшник. – Думаете, в Германии они только и делали, что коровники чистили? Не скажите! Чуждых нам взглядов они там нахватились во как! – срезал себя кэгэбэшник по горлу.

Горбатов не знал, что с ними делать. Работники из них – никакие, а кормить их и найти, где жить надо. Временно поселив их в отремонтированном на скорую руку бараке, одних он направил в тайгу для сбора дикоросов, других, что постарше, определил токарям и слесарям в ученики. Антону для отбора проб на полигонах, где не требовалось больших физических усилий, он дал двух ребяташек. Одного из них, конопатого, звали Алёшей, похожего на цыгана Борисом.

На ногах появившегося утром на работе Алёши были рваные ботинки, одна гача изношенных до дыр штанов была короче другой, узкий в плечах пиджачок годился на мусорку, на Борисе было с чужого плеча старое пальто, на ногах стоптанные

сандалии. Оба были похожи на измученных долгой болезнью подростков, смотреть на них было больно, а когда Алёша спросил: «Дяденька, а что нам делать?» – находившаяся в отделе чертёжница заплакала. Потом она кормила их пирожками.

– Ешьте, родненькие, ешьте, – приговаривала она и всё никак не могла остановить слёзы.

Прошло три дня, и Борис не вышел на работу. Не оказалось его и в бараке. Через сутки организовали его поиск, осмотрели чердаки и брошенные дома, почесали окружающий посёлок лес. Бориса нигде не было. После этого об исчезновении его сообщили в милицию.

Привезли на прииск Бориса через неделю в чёрном воронке. В клубе над ним состоялся показательный суд. Судили за самовольный уход с работы, что по всё ещё действующему с войны уголовному кодексу, приравнивалось к саботажу. Было видно, что похожий на бульдога судья чикаться долго с Борисом не собирался. Когда одна из народных заседателей подала ему папку с делом Бориса, он недовольно буркнул: «Ни к чему это». Людей в зале было много, пришли они сюда из сочувствия к Борису. Когда уже суд подходил к концу и было ясно, что ему дадут большой срок, кто-то из зала крикнул: «Сволочи, хоть бы ребёнка пожалели!».

– Кто сказал?! – поднялся из-за стола судья.

В зале стало так тихо, что казалось, пролети муха и её бы услышали.

Когда Борису дали последнее слово, он поднялся со скамьи и крикнул в зал: «Домой я всё равно убегу!».

Вскоре на прииск стали возвращаться фронтовики. Было их немного: бычьего сложения Аким, глядя на которого казалось, что на таких, как он, можно вынести ещё одну войну, с глубоким шрамом на щеке долговязый Никита и хилого сложения Гоша. И с ними Горбатов не знал, что делать. Они загуляли на чём свет стоит. Пьяные, ходили по посёлку, горланили песни, хвастались, как смело и ловко справлялись с фашистами, а на того, кто не верил, набрасывались с кулаками. Жёнам, которые сначала были без ума от радости, что их мужья вернулись с

фронта живыми, наконец, всё это стало невозможу, и они побежали к Горбатову с жалобами. Первой прибежала жена хилого Гоши. В отличие от него она была крепко сложена, а по кулакам могла сойти за мужика.

– Василий Петрович. Да уйми ты моего идола! – кричала она. – Пьёт с утра до вечера и никакого удержу.

– А чего, сама разве не можешь? – смеялся Горбатов.

– Попробуй! Я, говорит, наган с собой привёз.

– Ну, уж и наган, – не верил Горбатов. – На испуг тебя, дуру, берёт.

Долговязый Никита застрелить из нагана свою жену не собирался.

– Я герой войны, у меня две награды, – говорил он ей, – а поэтому ты мне не перечь.

– А каки таки награды?! – кричала в кабинете Горбатова его жена. – Две медали, да и те неизвестно за каку холеру дали.

А жена Акима, хоть и была от горшка два вершка, заявила: «Не уймёшь, Василий Петрович, я его прихлопну!».

Горбатов вызвал к себе фронтовиков. Аким и Никита были с глубокого похмелья, а Гоша уже успел где-то выпить.

– Ну, вот что, мужики, – сказал Горбатов, – попили, и хватит.

– Да, – согласился с ним Аким, – всю её проклятую не перепьёшь.

– Оно, конечно, – не стал возражать и Никита, – и меру надо знать.

Взъерепенился Гоша.

– Позвольте! – вскочил он со своего стула. – Мы кровь на фронте проливали, а теперь что, и выпить нельзя?!

– Заткнись! – грубо оборвал Аким. – Ты кровь не проливал, всю войну в обозе проходил.

II

По селу скакал верховой. «Победа! Победа!», – кричал он. Все побежали на площадь. Там состоялся митинг. Первым выступил председатель сельсовета.

– Товарищи, – сказал он, – фашистская гадина раздавлена!

Мы победили! Не будет теперь на нашей земле горя, не рваться на ней вражеским снарядам, впереди новая жизнь без голода, без слёз и похоронок. Слава советскому воину-победителю! Вечная память оставившим свои жизни на полях сражений!

А в голубом небе ярко светило солнце, казалось, и оно радуется окончанию войны, трепетало по ветру красное знамя, весело кружили в небе стрижи и ласточки.

Слово взял директор правления совхоза. Был он выпивши, поэтому речь его казалась нескладной. Он больше махал руками, а запутавшись в том, что хотел сказать, крепко выругался и обозвал немцев фашистскими падлами. Рвался на трибуну известный в селе трепач и пьяница Булышка.

– И мне слово! – кричал он.

Слово ему не дали. Сказали: «Иди, проспись».

После речей заиграли гармони, полетели вверх шапки, все кинулись в пляс. Плясали так, что казалось, оставшиеся от войны страдания навсегда вбивают в землю, а в стороне голосили вдовы. Плакала и Ксюша, а рядом с ней Ира просила: «Мамочка, не плачь! Мамочка, не плачь!» Потом и она разревелась. К ним подошёл председатель сельсовета.

– Не плачьте, Ксения Ивановна, – сказал он. – Может, всё будет хорошо. Бывает, и без вести пропавшие возвращаются с войны.

– Спасибо, Александр Петрович, за доброе слово, – ответила Ксюша.

Дома, у бабы Дуни, Ксюшу ждало письмо. Это был ответ из Ленинграда на её запрос: может ли она вернуться в город в свою квартиру. Из Ленинграда отвечали: дом, в котором была её квартира, немцы разбомбили, новое местожительство горисполком пока предоставить не может. Ксюша совсем упала духом. «А что, если Гриша уже вернулся с войны и ищет её по ленинградскому адресу, а она здесь, в глухом сибирском селе, где её он никогда не найдёт», – думала она.

– А не выпить ли нам, девка? – предложила баба Дуня и поставила на стол бутылку водки и солёные огурцы.

Ксюша выпить согласилась. От первой рюмки у неё закру-

жилая голова, а после второй стало казаться, что она не в избе бабы Дуни, а на качелях. А баба Дуня говорила:

– Ты, девка, шибко-то не убивайся. Может, и найдётся твой Гриша. Вон у Зайчихи-то, почитай, всю войну – ни слуху, ни духу, а объявился, холера его возьми. Я, говорит, в Польше в партизанских отрядах воевал. Может, и твой где в партизанах.

Скоро баба Дуня опьянела и стала жаловаться на свою горькую судьбу, рассказала, как её мужа на площади, где сегодня был митинг, колчаковцы забили шомполами насмерть, потому что он не хотел служить в их войсках. Потом она достала из комода его фотографию и показала Ксюше. На фотографии сидел крупный мужчина с крутым лбом и толстыми усами.

– Я в своём Петеньке и души не чаяла, – говорила баба Дуня. – Скажи он, кинься в реку, и не задумавши бы кинулась. И он меня любил. Я, говорит, Дуня, за тебя и на смерть готов.

А когда Ксюша вернула бабе Дуне фотографию мужа, она, глядя на неё, вдруг запела:

– Сидит Петя на патрете.

Кто же Петю рисовал?

Ой, какой Петя красивый!

Всё бы Петю целовал.

Голос у неё был слабым и по-старушечьи скрипучим, Ксюше даже казалось, что она не только поёт, но и плачет, а баба Дуня, и на самом деле, закончив петь, расплакалась, и, утирая слёзы фартуком, сказала: «Выходит, не судьба нам была с ним».

В конце лета у председателя сельсовета умерла жена. Остался он с сыном Илюшей, которому было десять лет.

– Ты бы, девка, подумала, – стала говорить баба Дуня Ксюше, – уж сколько, как война прошла, а от твоего – ни слуху, ни духу. Видать, как ни жди, а не вернётся он. А Александр-то Петрович хоть и с одной рукой, а мужик-то – лучше не сыщешь, – пошла напрямую баба Дуня. – Не пьёт, хозяйство нито какое держит, и добрее его, почитай, в селе никого нет. Встренит, за- всегда поздоровкается и как живёшь, справится.

– Баба Дуня, ну что вы говорите? Я Гришу буду ждать, – отвечала ей Ксюша.

– Ну что ж, – вздыхала баба Дуня, – жди. Ждать-то никому не запрещено. Только вот Иру свою как подымать будешь?

Ксюша верила, что Гриша ещё жив. Об этом ей говорило сердце, и в снах он был всегда живым и здоровым. Вчера она видела, как он, вернувшись с фронта, бежал к ней по широкому полю, усеянному цветками. И она бежала к нему, но у неё подкашивались ноги, она падала, и оттого, что никак не могла подняться, плакала. А когда поднялась, увидела: Гриша стоит рядом, он широко улыбается, в руках его ромашки. От страха, а вдруг это только сон, Ксюша проснулась и до утра не могла уснуть. Перед ней всё стоял Гриша, он ей улыбался и, казалось, сейчас подойдёт и крепко обнимет.

III

Гришу везли на восток. Надрывался в гудках паровоз, стучали на рельсовых стыках колёса, в телятнике, когда стояли жаркие дни, нечем было дышать, когда шли дожди, по нему гуляли сырые сквозняки. К каждому вагону была приставлена охрана. Находилась она в закрытых тамбурах. У всех охранников были собаки. Когда заключённых выводили из вагонов, собаки рвались с поводков, а охрана отстававших от строя била специально приспособленными для этого палками. Немцы, помнил Гриша, не так зверствовали, когда везли его в Германию. И это было понятно. Немцы знали, что везут в Германию военнопленных, а наша охрана с собаками и палками считала, что везёт она предателей родины.

Гришу всю дорогу мучил вопрос: что делать? Бежать? Скрываться остаток жизни под чужим именем? Нет, это не годится. Но и смириться с тем, что случилось с ним, он не мог. Не успокаивало Гришу и то, что таких, как он, в вагоне было много.

Вот рядом оружейник из Тулы. Он почти всю войну отсидел в немецком концлагере, перед приходом советских войск бежал из него. Доказать, что не служил немцам, а сидел у них в концлагере, он не мог. Все документы на заключённых, перед тем как оставить лагерь, немцы сожгли. Ему, как и Грише, дали срок на всякий случай: а вдруг да он не тот, за кого себя выдаёт.

Похоже, со своим положением он уже смирился. «Шире рыла, – говорил он Грише, – не плюнешь».

А вот татарин. Он сидит в углу вагона и жалуется соседу: «Байна был. Бинтовка длинный, курсак пустой. Бинтовка бросал, немец плен брал, турма садил. Байна кончал, рус плен брал. Зачем немец турма, рус турма? Где один турма?»

Кормили заключённых селёдкой, раз в два дня давали по горстке сухарей. От селёдки всех мучила жажда, на длинных перегонах в Барабинских степях, когда в вагонах не хватало воды, от обезвоживания организма заключённые теряли сознание. Если шли дожди, просунув руки за оконную решётку, они пытались собрать воду в ладони, но по рукам из своих тамбуров стреляла пьяная охрана.

В Ванино заключённых погрузили в трюм парохода. Всем стало ясно: везут на Колыму. В тюрьме было холодно, как в леднике. Когда пароход попал в шторм, от качки у многих открылась рвота. Дышать в тюрьме стало нечем. А когда шторм утих, в тюрьме случился пожар. Горели деревянные нары и тряпье, что было на них. Заключённые стали задыхаться в дыму, но наверх их не выпускали, опасались, что там они могут поднять бунт и захватить пароход. Наконец им подали шланг, по которому пустили воду. Пожар затушили, но трюм почти на треть заполнился водой. Заключённые перебрались на верхние нары, но там они угорали в оставшемся от пожара дыму и, теряя сознание, падали в воду. Когда в Магадане заключённых стали выводить из трюма, Гриша увидел в воде труп татарина, жаловавшегося на то, что его несправедливо наказали и немцы, и русские. У него было синее лицо и жёлтые в оскале зубы.

Пароход с заключёнными в Магадане был первым, и магаданцы уже знали, что многие из них были невиновными, а об этой партии заключённых они знали, что часть из них осталась в заполненных водой трюмах, и поэтому, когда их вели по городу, горожане бросали им еду, тёплую одежду, а девушки цветы. А в куцем пиджачке и в сандалях на босую ногу пьяный мужик, грозя охране, кричал: «Сволочи! Я вас всех, в гробину мать!».

– Гражданин, не наводите беспорядков, – строжился над ним милиционер.

– На-кошь! Выкуси! – совал ему под нос фигу мужик, пока не подъехал воронок и не упрятал его в свою кутузку.

Магадан за войну сильно изменился, появилось много новых строений. Гриша узнал улицы, по которым, будучи в служебной командировке, ходил до войны. Вот улица, где в промтоварном магазине с матерью они покупали детские распашонки, чтобы переслать их в Ленинград беременной Ксюше, а вот парк, где с дядей Антоном и Котельниковым они пили пиво и смотрели футбол. Узнал Гриша и драмтеатр, куда все вместе ходили на «Дядю Ваню» Чехова. Теперь Грише казалось, что всё это было очень давно, и словно взятое не из его взрослой жизни, а из детства.

В Магадане заключённых сводили в баню, а потом стали развозить по лагерям. Гриша попал в лагерь, который, как он понял, был расположен не далеко от Эмтегея. В нём было всё, как в немецком концлагере. Такой же огораживающий лагерь двойной ряд колючей проволоки, такие же грубо сколоченные нары, и плац для развода был, как у немцев, широкий и вытопанный тысячами ног, только бараки были не кирпичными, а деревянными, да и не было ещё крематория.

В лагере было много таких как Гриша, с которыми разбираться, кто он, предатель или свой, у следствия не хватило времени. Были бендеровцы с Западной Украины, лесные братья из Прибалтики, власовцы из Германии, солдаты и офицеры из польской армии Крайовы. Много было и таких, кто не брал в руки оружия, но распускал языки там, где их надо было держать за зубами, немало было здесь и уголовников.

Каждый день в лагере начинался с переключки на плацу, потом заключённых разводили по работам. Гришу определили взрывником, на подземную добычу песков.

Подрывному делу он научился ещё в Белоруссии, где динамитом взрывал железные дороги и отправлял фашистские эшелоны под откос. Работа была нетрудной, и день в ней проходил незаметно.

Хуже было вечером. Вечерами среди уголовников шли кровавые разборки. Заточками они протыкали себе грудь, оторванными от нар досками раскалывали головы, а ворвавшаяся в барак охрана добивала их палками. Когда среди уголовников не было разборок, они приставали к политическим, отнимали у них курево, а кто не давал, того грозили посадить на пёрышко, в блатном кураже заставляли делать то, что унижало человеческое достоинство.

– А ну-ка, процитай мне что-нибудь из Пускина, – цедил сквозь зубы растянувшийся на нарах блатарь филологу Казанского университета, – а то что-то уснуть не могу.

Если филолог читать Пушкина отказывался, его били. К Грише блатные не стали приставать после того, как он одному из них ударом кулака выбил сознание.

IV

Алёшу Антон забрал к себе. С наступлением зимы купил ему тёплую одежду, потом рассчитал с прииска и определил в школу. Попал Алёша в класс, в котором учился Миша. Он был старше одноклассников на те три года, что оставил в Германии. Нашлись в классе и такие, кто за это стали над ним насмехаться.

– Дяденька, а сколько будет дважды два? – ехидно спрашивал его тот Валерка, с которым Миша пытался убежать на фронт.

За это Валерку Миша поколотил, и насмехаться над Алёшей он перестал.

Учился Алёша хорошо. По русскому языку и литературе одни пятёрки, не пошёл у него немецкий язык, хотя знал его, наверное, не хуже Марты Ивановны, учительницы этого языка в школе. Марта Ивановна очень любила немецкий язык и относила его к числу тех, наипервейших предметов, не зная которых, полноценным, по её мнению, человек никогда не станет. Да, немцы дали миру фашизм, но нельзя забывать, считала Марта Ивановна, они дали миру и великого Гейне. А кто не знает Гейне, извините, это уже нонсенс. Втайне от директора школы она проводила на своих уроках эксперименты. В одном

из таких экспериментов она взялась за то, чтобы ученики её умели не только говорить по-немецки, но и петь. Выбрала она для пения отрывок из арии «Фрейшютца» «Durch die Felder, durch die Täler³⁹». Петь по-немецки Алёша категорически отказался, а когда Марта Ивановна спросила почему, он ответил: «Я не могу петь на языке, который ненавижу».

В один из вечеров Алёша рассказал Антону о себе. Жил он в небольшом белорусском городке, где кроме мукомольного комбината, железнодорожного депо и клуба ничего не было. Сначала его заняли не немцы, а итальянцы. Они зря никого не трогали, не проводили ни арестов, ни расстрелов. Каждому, кого встречали на улице, говорили «Ciao⁰», расставаясь, не забывали сказать «Arivederci⁴¹». В открытом на скорую руку госпитале лечили и русских. Было видно, что война им совсем не нужна, каждый думал, скорее бы *andiano a casa*⁴². Когда пришли немцы, всё стало по-другому. Начались аресты и расстрелы. На улицах и в застенках гестапо расстреливали по одному, за городом – партиями. Итальянский госпиталь закрыли. Немцы считали, что лечить русских нужно только *Arbeitsbehdlung*⁴³. Отец Алёши, с приходом немцев, ушёл в партизаны, а мать немцы убили. Случилось это на глазах Алёши. Когда его и угоняемых в Германию сверстников выстроили на перроне вокзала и немецкий офицер через переводчика стал объяснять, зачем их везут в эту Германию, мать, прорвавшись через оцепление, бросилась к Алёше и закричала: «Не отдам!». От Алёши её оторвали, а когда волокли по перрону, один из немцев ударил её по голове прикладом винтовки. От этого удара она скончалась.

В Германии Алёшу определили к фермеру, который для вермахта выращивал свиней. Было их много, и Алёша едва успевал давать им корм и убирать за ними отходы. Чуть что не так,

³⁹ Через поля, через долины (нем.)

⁴⁰ Привет, здравствуй (итал.)

⁴² До свидания (итал.)

⁴³ По домам (итал.)

⁴⁴ Лечение работой (нем.)

фермер сёк его специально заготовленными для этого прутьями. Летом Алёша спал на сеновале, а зимой в пристройке к свинарнику. Держал фермер ещё гусей и уток. За ними ходила полячка Анна. Алёшу она очень жалела. Придя к нему вечером на сеновал, она гладила его по голове и говорила: «О, бедный пане малтшик, и затшем тебе сколько горя?» Нередко на сеновал в это время приходил хозяин. Он забирал Анну и уводил её в недалеко расположенный амбар. Чем они там занимались, Алёша уже догадывался. Вскоре Анна забеременела, а после того, как хозяин её побил, у неё произошёл выкидыш. Случилось это в свинарнике, и Алёша видел, как свиньи, пока Анна лежала без сознания, выкидыш съели. С тех пор он не мог есть свинину, когда её видел, его тянуло на рвоту.

Антон сделал запрос на отца Алёши, Петра Сухова. Вскоре пришёл ответ с его адресом. Встретили отца с магаданским автобусом. Вышел он из него на костылях, вместо правой ноги была култышка.

– Сынок, – обронил костыли, упал он на грудь Алёше, – где же ты был так долго, милый?

Плакал и Алёша и всё повторял: «Папа! Папа!».

Вечером за столом отец Алёши говорил: «Антон Николаевич, до гроба не забуду вашей доброты. Не вы – не видать бы мне Алёши. А потом спросил: «Решетов Григорий не ваш родственник?».

– Гриша – мой племянник, – ответил Антон.

– Господи, да мы же с ним вместе в партизанах ходили! – вскричал отец Алёши и потом рассказал о Грише всё, что знал и помнил. – После последнего боя среди убитых мы его не нашли, – закончил он свой рассказ.

V

Годы ожиданий всегда кажутся долгими, и у Ксюши они не стали исключением. С тех пор, как началась война и потерялся Гриша, казалось, прошла вечность, а что было до этого: и Эмтегей, где Ксюша с геологами искала золото, и погранзастава на Усури, где с Гришей летом они купались в реке, а зимой

катались на лыжах, и довоенный Ленинград, там Ксюша в последний раз видела Гришу, – осталось всё в таком далёком прошлом, что казалось, и было-то это не наяву, а во сне.

Шли годы. Вернувшись с войны фронтовикам уже не снились по ночам атаки, в которых гибли их друзья и товарищи, никто не получал в селе похоронок, не ждали вдовы потерявшихся на войне мужей.

А Ксюша больше жила своей школой. Когда дела в ней шли плохо, домой она приходила расстроенной. Баба Дуня понимала это по-своему.

– Ой, девка, и чего думаешь, – говорила она, – не живёшь, а мучаешься. Дождёшься, Александра-то Петровича и с одной рукой оторвут. Вон их, безмужних-то, сколько. Позови, от них и отбоя не будет.

О том, чтобы сойтись с Александром Петровичем, Ксюша не думала, хотя уже и понимала, что Гриши она не дожждётся. К Александру Петровичу она ходила, чтобы присмотреть за Илюшей, постирать бельё. Илюше это не нравилось. Видимо, он ревновал к ней отца.

– Я и сам всё сделаю, – говорил он.

Конечно, сделать много Илюша не мог. Кроме картошки приготовить он ничего не умел, бельё было так застирано, что казалось, его уже ничем не отстираешь. Обратила внимание Ксюша и на то, что у Александра Петровича кроме латаной-перелатанной гимнастёрки, солдатских штанов, да двух гражданских без пуговиц рубашек ничего и не было. «И это у председателя совета!» – думала она. Конечно, Ксюша подумала, будь Александр Петрович другим, хапугой, не ходил бы в солдатских обносках.

Да, Александр Петрович не был хапугой, а за государственное добро он готов был каждого, кто его растаскивает, убить на месте. Те, кто жил своей трудовой копеечкой, его уважали, а кто замахивался на чужое, ненавидели. Ненавидел его и Губан, первый в селе ворюга. Воровал он по-маленькому и по-крупному. У соседа, когда тот не был дома, тащил с огорода табак и капусту, в совхозе воровал ржаные отруби и хомуты. Отруби

он скармливал свиньям, а хомуты сбывал цыганам. Однажды Александр Петрович прихватил Губана на сельсоветском покосе.

– Прочь отсюда, негодяй! – крикнул Александр Петрович.

– А ты шибко-то не гоношись, – зло оскалился на него Губан.

– Окромья нас двоих тут никого нет. Как бы чего не вышло.

Бросая покос, Губан грозил пустить Александру Петровичу во двор красного петуха. Красного петуха он не пустил, но вскоре Илюшу нашли без сознания недалеко от дома. В селе догадывались, что побили его сыновья Губана, но доказать это было невозможно. Сам Илюша, кто бил его, не видел, его оглушили сзади ударом палки по голове. Когда стало ясно, что в селе, где нет врача, на ноги Илюшу не поставишь, решили везти его в городскую больницу. Сопроводжать его взялась Ксюша, не оставила она его и после операции, потому что с кровати подняться он долго не мог. Когда в палате у Илюши делать было нечего, Ксюша шла в город. Там, на базаре, она покупала овощи и ягоду.

На базаре всегда было шумно, везде толпились очереди, мальчишки, шныряя в толпе с чайниками, кричали: «А ну, кому воды холодной!», и брали за кружку десять копеек, бабы, перебивая их, зазывали к своим лоткам с горячими пирожками. С капустой пирожки брали хорошо, а с говядиной плохо. Ходили слухи, что в говядину подмешивают человеческое мясо. Один мужик в своём пирожке нашёл ноготь, кинулся искать бабу, у которой брал этот пирожок, а её и след простыл. На прилавках, крытых от дождя, торговали овощами и мясом. И здесь брали на крик. «Разуй глаза!», – кричал покупателю продавец мяса, выдавая кости за вырезку. «Помидор новый сорт! Сладкий, как арбуз! Кушай тебе на здоровье!», – кричал рядом с ним кавказского происхождения дядя с толстым животом и острым, словно выстреленными из носа, усами. Каждому, кто покупал у него помидоры, он говорил: «Никто такой помидор не кушает. Один ты кушает». Несмотря на то, что цены на площади он ломил спекулятивные, за ними стояла очередь. Ксюша помидоры у него не брала. Она шла в другой конец прилав-

ка, там продавал помидоры щупленький, в ситцевой рубашке мальчик. «А я, тётенька, дорого не беру», – говорил он Ксюше, выбирая ей помидоры что получше.

Много на базаре было цыган. Цыганки гадали на картах и руке, цыганята тащили с прилавков, что плохо лежало, а их отцы, на окраине базара, торговали лошадьми. «Хозяин, бери, век за меня бога молить будешь!», – сбывая клячу за вороную, кричали они. Недалеко от цыган продавали коров. Здесь никто не кричал. Покупатели придирчиво осматривали коров, даже зачем-то, как лошадям, смотрели в зубы, а бабы, отдавая их в чужие руки, плакали.

Много на базаре было нищих. Прямо у входа, слева, в коляске на шарикоподшипниках сидел контуженный солдат без ног. Он играл на гармонии и пел: «Я оставил ноги под Берлином».

– Милый, а ты мово сына там не видел? – спрашивали его бабы.

– Нет, мать, не видел, – отвечал им солдат.

Когда у него начинало дёргаться лицо, он прятал его в поднятый воротник шинели, и всем казалось, что он плачет.

Напротив него, через дорогу, просили милостыню две худенькие, с серыми лицами девочки. Они пели о замученной фашистами комсомолке Зое Космодемьянской.

«Немцы старые, озверелые, – запевала старшая. А младшая тоненьким, как из дудочки, голосом подпевала: «Выжгли Зоечке щёчки белые».

После каждого куплета они просили: «Подайте сиротам на пропитание».

А на небе светило яркое солнце, на стоящем у ворот тополе весело щебетали птицы, и не верилось, что недавно по нашей земле прошла война, выжгла всё, что стояло на её пути, загубила миллионы жизней, и то, о чём пели безногий солдат и девочки, казалось страшным сном, растянувшимся на долгие четыре с лишним года.

Солдату и девочкам подавали хорошо. Плохо подавали недалеко от них сидящей старушке. «Подайте копеечку», – жалобно просила она и мелко, словно от кого-то украдкой, крестилась.

«Помирать пора», – говорили ей. В ответ она жалко улыбалась. Видимо, и она понимала, что своё на этом свете отжила.

На базаре, вдоль прилавков, водила слепого старика девочка. У неё было бледное лицо и тонкие, как у грудного ребенка, ноги. Высокий, словно из жердей сколоченный старик с длинной бородой и скрытыми белой роговицей глазами, одной рукой держался за хлястик её пиджака, другой ошупывал дорогу палкой.

– Подайте дедушке на пропитание, – просила девочка, и когда ей подавали, низко кланялась и говорила, – спаси вас Господи Иисусе.

Подавали ей хорошо, а грузинского происхождения дядя, подавая помидор, всякий раз говорил: «Никто такой помидор не кушает, а твой дедушка кушает».

Недалеко от базара, на пустыре, в большой палатке располагался заезжий цирк. На деревянных подмостках перед ним фокусники и клоуны зазывали в него зрителей. Фокусники протыкали себя длинными кинжалами, а клоуны, выжав свои двухпудовые гири, бросали их в толпу. И хотя все уже знали, что гири ненастоящие, сделаны из картона, шарахались от них, как от настоящих.

При входе в цирк стояла большая с резиновой головой кукла Гитлера. Голова его была заполнена водой, и когда по ней били кулаком, из глаз Гитлера выскакивали длинные слезы. И хотя все знали, что Гитлера уже нет в живых, ударить его по голове хотелось многим, но разрешалось это делать только тем, кто уже приобрёл билет на очередное представление. Когда в голове заканчивалась вода, распорядитель цирка, откинув полог в его вход, кричал: «Аким, воды Гитлеру».

С ведром воды выходил нетрезвый Аким. На нём была вытертая до дыр солдатская гимнастёрка, вместо правой ноги – деревяшка. Он заливал голову Гитлеру водой, а когда уходил, всякий раз плевал в его сторону и говорил: «Скотина».

За Ксюшей и выздоровевшим Илюшей Александр Петрович прислал Егора. Это он вёз Ксюшу в село в начале войны. Казалось, и телега с привязанным сзади ведром, и лошадь были

теми же, что и тогда. Телега скрипела, стучало на ухабах по нему ведро, лошадь, когда не хотела идти, останавливалась и косилась на Ксюшу похожим на оловянную ложку глазом.

– У-у, холера! – ругался на неё Егор, но не погонял, зная, что пока своё она не выстоит, с места не тронется.

Скоро дорога пошла по луговым сенокосам. Как и тогда, запахло свежескошенной травой, с реки потянуло прохладой, застрекотали в траве кузнечики. Косили траву уже не вручную, а конными косилками. Запряженные в пару кони тянули их без особого труда, управляли ими крепкие ребята, хлопали они бичами не затем, чтобы подогнать коней, а от избытка сил, которые девать на сенокосилке было некуда. После сенокосов пошли пшеничные поля. От тяжёлых колосьев пшеница гнулась к земле, было видно, что урожай в этом году будет хорошим.

– Ничаво, нынче жить будет можно, – говорил Егор, скручивая на ходу сигарку.

А Илюша, спрыгнув с телеги, стал собирать у дороги цветы.

Собрав букет, он догнал телегу и, подавая его Ксюше, сказал: «А это вам».

В село приехали поздно. Накрапывал дождь, зависшая над окраиной села туча обещала скорую грозу. Пока ужинали, наступила ночь.

– Ксения Ивановна, оставайтесь у нас, – сказал Александр Петрович.

Ксюша у него осталась.

VI

После одного из разводов по работам к Грише подошёл лейтенант из охраны и спросил, не родственник ли ему Антон Николаевич Решетов, главный геолог Митина прииска.

– Да, этой мой дядя, – ответил Гриша, и у него, как от удара током, забилось сердце: может и Ксюша здесь?

Охранником был Василий, сын отца Парфёна.

В этот день Гриша не мог найти себе места. И в забое, и на устье штольни, куда он выходил курить, перед ним стоя-

ла Ксюша. Кажется, впервые за долгие годы и на чужбине, и здесь, в лагере, он видел её не убитой горем, не со слезами на глазах, а весёлой. Вот он с ней на Уссури. Лето, над ними голубое небо, в лесу они собирают грибы. Ксюша корзину уже набрала и смеётся над ним: он не набрал и половины. И тут, как и тогда, на них выходит тигр. Увидев людей, он, как после долго сна, лениво зеваёт и, не торопясь, уходит в чащу леса. «А я его, ну, вот нисколечки не испугалась», – говорит, крепко ухватив Гришу за руку, Ксюша.

– Чито, всё курыш? Письмо плохой получал? – перебивает воспоминания Гриши вышедший тоже покурить грузин Кухилава. И он заключённый, и ему, как и Грише, до освобождения ещё далеко.

Гриша рассказывал ему, что узнал у охранника.

– Какой большой счастья! – радуется за него Кухилава. – Лагерь кончал, дядя рядом, жина найдёш, жизнь харашо пирадолжится.

Организовать встречу Гриши с Антоном Василию было не просто, ведь судом Гриша был лишён права на переписку. Василий пошёл к начальнику лагеря. Был им прошедший всю войну в окопах майор Веденеев.

Знал Веденеев не только войну, но как и за что садили после неё в тюрьмы и лагеря. Сейчас он много пил, но определить, что выпивши, было трудно. Зная, что заключённые падают к нему не с неба, а проходят до него другие лагеря и многочисленные этапы, и пересылки, где твёрдо усваивают выработанные ещё с царских застенков законы жизни за колючей проволокой, переделать что-то в своём лагере он не пытался.

Более того, казалось, что и сам он уже жил только тем, чем жил лагерь, и выделить в его жизни что-то другое, не связанное с лагерем, было невозможно. Разговор его, даже с офицерами охраны, наполовину состоял из уголовного жаргона, или, по-лагерному, из блатной фени. Он хорошо знал, кто у него в лагере фраера и суки, знал всех воров в законе и блатных. Семьи у Веденеёва не было, поэтому ночевать он нередко оставался в кабинете. Тогда он ходил по баракам, беседовал с

заключёнными, слушал их блатные песни, или, как они сами говорили, романсы. Особенно ему нравилось, как поёт заключённый Траский. До лагеря в музыкально-драматическом театре Одессы он пел арии. В лагерь попал за то, что одну из них признали антисоветской. Здесь он пел блатные песни: «Не для нас заиграют баяны», «Помню я ночку осеннюю, тёмную», и другие. Уголовников очень трогали песни, где пелось о мару-хах, с какими они гуляли на воле. Когда Тарский пел:

– Люби меня, детка, пока я на воле,
Пока я на воле – я твой.
Тюрьма нас разлучит, я буду в неволе.
Тобой завладеет другой.

Кто-то из них обещал, что когда вернётся из лагеря, свою маруху зарежет, другие, зло сплёвывая на пол, говорили: «Все они суки». Ещё более трогали блатных песни о матерях, кото-рые, как им казалось, за них всё ещё очень страдают.

Когда Тарский пел:

– Чтоб жить могли, работала мамаша,
А я тихонько начал воровать.
«Ты будешь вор, как твой родной папаша», –
Твердила мне, роняя слёзы, мать.
Они шли к окну и там долго курили.

И их можно было понять. В жестоком лагерном мире, где всё берётся силой и обманом, только воспоминания о матери греют сердце уголовника.

Хотя нельзя не заметить: выйдя из лагеря, не каждый из них становился хорошим сыном. Многие из них пропивали последнюю копейку матери, а если она эту копейку не отдавала, били её смертным боем.

Пел Тарский и другие песни: «Отворите окно, отворите. Мне не долго осталось жить», «Там на концерте, в саду познакомился с чудом земной красоты». Первая заканчивалась словами «Судьба во всём большую роль играет», вторая – «По пыльной дороге под строгим конвоем я в уголовку иду».

В лагере, помимо Тарского, талантов было много, и майор Веденеев уже хотел организовать в нём художественную са-

моделятельность, но сделать это не успел: его уволили со службы за халатное отношение к своим обязанностям. Но помочь встретиться Грише с Антоном майор Веденеев успел. Выслушав Василия, он сказал: «Позови-ка мне лепилу».

Появившемуся в кабинете лагерному врачу он приказал: «Положи-ка Решетова в больницу». А когда врач ушёл, он заметил: «За встречу в лагере нам с тобой головы снимут, а в больнице – никто и знать о ней не будет».

В больницу Гришу положили с ишемией сердца. Находилась больница за лагерем, в посёлке, заключённые лежали в ней на первом этаже, вольные – на втором. Была в ней и охрана, но так, для порядка. Считали, что больные зэки в бега не ударятся.

Лежали в палате с Гришей люди разные. Сосед слева в войну был капитаном. Осуждён за то, что отказался посылать свой батальон на верную смерть. Справа лежал рецидивист-уголовник. В лагере, чтобы сачкануть, он засыпал в глаза порошок из химического карандаша, но дозы не рассчитал и ослеп. Вчера он удавился в уборной.

Лежавшие в палате другие уголовники по вечерам играли в карты и пили водку. Водку им приносила зататуированная проститутка из женского отделения больницы. Её они по очереди водили в уборную. «Ребята просят», – оправдывалась она. Напившись, уголовники дрались, а утром их за это отчитывал врач Гутман: «Я за вас не знаю, что и делать».

Опасаясь получить нож в спину, ничего с ними он не делал.

Антон Гриша не узнал. Глубокие морщины на лице, бесцветные, как студень, глаза и седая, длинная борода говорили о том, что это уже старик.

Встреча была тёплой, Антон даже не смог удержать слёз. Первый вопрос Гриши был: где Ксюша?

– Не знаю, – ответил Антон. – Куда только ни писал, ответ один: сведениями о месте её проживания не располагаем.

Конечно, Гриша понимал: если Ксюша и жива, то ждать его более десяти лет она не могла, но сердце смириться с этим не хотело. «Нет, Ксюша жива и его ждёт», – говорило оно ему.

VII

Зима была снежной и метельной, по ночам выли волки, отпугивая их, лаяли собаки. Вечерами, за столом, у керосиновой лампы, Ксюша проверяла ученические тетради, Александр Петрович просматривал сельсоветские бумаги, бабы Дуня, которую они взяли к себе, укачивала в люльке их Коленьку.

– Ходит Дрёма

Возле дома.

В дверь заглядывает,

Сон загадывает,

– пела она, а если Коленька не засыпал, она стращала его тетерем:

– Сидит тетерь на дубу,

Дует в медную трубу:

«Кто не будет нонче спать,

Буду ремнем укладывать».

Весной, в марте, пришло сообщение: умер Сталин. На траурном митинге все плакали, казалось, без Сталина страна развалится и попадёт в чужие руки. Правда, так казалось только простым людям. Начальство и прибывший из города уполномоченный думали иначе. На митинге были приняты повышенные обязательства по выращиванию зерновых и подъёму животноводства, которые заканчивались словами: «Дело Сталина будет жить вечно!» Брала печаль по Сталину Булышку. Как и на митинге по случаю окончания войны, со своим словом он лез на трибуну, но его туда не пустили. Сказали: «Иди, проспись». Пьяный, он после этого ходил по селу и горланил песни. Не печалился по Сталину и Губан. Он рассчитывал, что после Сталина таких, как председатель сельсовета будет меньше, и поэтому строгого присмотра за государственным добром не будет. К тому же он надеялся, что из лагеря скоро вернётся отец, раскулаченный в коллективизацию. А уж с ним-то они возьмут своё! Отец и на самом деле скоро вернулся, но не таким, каким его ожидал Губан. «Братъ чужое – грех», – сказал он сыну. В лагере он поверил в бога и теперь жил по десяти заповедям Иисуса Христа. Поэтому, когда сын украл в совхозе овцу и запер

её в сарае, чтобы ночью пустить под нож на мясо, он вечером овцу эту из сарая выпустил. «Ах, так!» – рассердился сын и приказал жене не давать ему за столом мяса. Теперь, когда отец тянул за столом руку к мясу, сын бил его по этой руке ложкой и говорил: «Не заработал».

Ради хохмы издевались над ним и сыновья Губана. Закрывали в бане, куда он ходил по субботам, а когда, еле живой, он выползал из неё и приходил в себя на крыльце, они, подкравшись к нему сзади, стреляли из ружья над ухом.

Пришла весна, стаял снег, река освободилась ото льда, на берёзах и тополях появились почки. На Троицу Ксюша ходила за село, там, на лугу, в цветастых сарафанах и с венками на голове, девушки водили хороводы и пели:

– Троица, троица,
Земля травой покроится.
Скоро миленький придёт,
Сердце успокоится.

Слушая эту песню, Ксюша плакала. Хотя она и понимала, что Гришу никогда не увидит, сердце в это верить не хотело.

В июне прошли выпускные экзамены. Ира после них собралась в Новосибирский университет на факультет журналистики. Вечером, на её проводы, Ксюша собрала стол, пригласила соседей и Егора. За столом Ира делала вид, что уезжает из дому очень просто, без печали и сожаления к тому, что оставляет, но Ксюша видела, как часто, уходя на кухню, возвращалась она оттуда с красными от слёз глазами. А баба Дуня за столом давала ей напутствия: «Ты, девка, не будь вертихвосткой, по танцулькам-то не шлындай. Ни-то матери и в подоле принесёшь».

– Баба Дуня, – краснела Ира, – ну что вы говорите!

Бабу Дуню поддерживал Егор: «Ты энтих кобелей гони! Холера их знает, что у них на уме!».

А сын Александра Петровича, Илюша, недавно вернувшийся со срочной, слушая это, улыбался.

Неожиданно появился отец Губана. Вызвав Александра Петровича в сени, он сказал: «Не выпускай на улку Иру. Гадёныши мои задумали неладное. Хотят её снасильничать».

Егор и Илюша сделали на сыновей Губана засаду. Когда они появились, Илюша бросился на ближнего с палкой, а Егор из захваченного с собой ружья другому всадил в задницу соли.

С побитой головой сын Губана пролежал неделю, а тот, в кого стрелял Егор, от боли в заднице, как говорили соседи, выл сутки.

VIII

После смерти Сталина в лагере многое изменилось. Главный упор в воспитательной работе был сделан на сознание. У охранников начальство отобрало палки, появились лозунги: «Лучшему лагернику – все льготы», «За примерное поведение и добросовестный труд – досрочное освобождение». Уголовники заговорили об амнистии, политические – о реабилитации. Бытовики к освобождению стали чинить свою одежду и обувь, справлялись в конторе: сколько у них на счету; урки этим не марались. Им казалось, что на свободе-то они и без лагерной копейки себя покажут. Представляли они себя на этой свободе не иначе, как «скромно одетым, с букетом в петлице, в сером английском пальто». А осуждённые по пятьдесят восьмой статье старались угадать: куда дуют на свободе политические ветры. С критикой культа личности Сталина и расстрелом Берии многие решили: возврата к прошлому не будет, однако, когда Хрущёв бросил в массы лозунг: «Наше поколение будет жить при коммунизме», некоторые из них стали терять уверенность в своём будущем. «От этого авантюриста можно ожидать, что угодно», – думали они. Да и с культом личности Сталина не всё было ясно. «Зачем его ругал? – говорил грузин Кухилава. – Сталин пятилетка поднял, война победил. Как он мог это делать без крепка рука?». Его поддержали те, кто считал, что сидит не по вине Сталина, а из-за преступного произвола чиновников. Они тоже были за «крепкую руку», а ссылаясь на историю России, говорили о том, что если бы Иван Грозный не был царём-содержанцем и не ввёл опричнину, то Русь распалась бы на бывшие до него княжества, а если бы Петр I не был царём-монархом и не расправился бы с боярами и стрельцами,

то она ходила бы под турками и шведами. Ради укрепления государства они не пожалели и поднявших на них руку сыновей. Иван Грозный убил своего сына, тоже Ивана, тростью, Петр I приказал задушить в монастыре своего сына Алексея подушкой. Да и Сталин отказался поменять попавшего в немецкий плен сына Якова на гитлеровского фельдмаршала Паулюса, хотя знал, что обрекает его этим на смерть.

Первым из политических освободили Тарского. Оказалось, что в арии, которую он пел в музыкально-драматическом театре Одессы, ничего антисоветского не было, а посадили его за то, что она была любимой арией Муссолини. В то время лозунг: «Что нравится врагу – не наше», был руководством не только в идеологической работе. На прощание в клубе Тарский спел романс «Мне бесконечно жаль своих несбывшихся мечтаний». Многие женщины из лагерной обслуги, слушая его, не могли удержаться от слёз. Надтреснутый с хрипом голос говорил о том, что Колыма навсегда закрыла ему двери в музыкально-драматические театры, а по изожжённому лицу и глубоко впавшим и уже потерявшим живой блеск глазам было видно, что и жить ему осталось недолго.

Гриша знал, что и его скоро освободят. В конторе, как сообщил ему Василий, все документы к этому уже подготовлены. Участие его в боевых действиях партизан Белоруссии подтвердил бывший командир партизанского отряда Белобородько, а о том, что он участвовал в партизанском Движении Сопротивления во Франции, свидетельствовали недавно пришедшие в УСВИТЛ документы о награждении его французским орденом «За храбрость».

Комиссия, куда вызвали Гришу, для вручения документов о реабилитации, состояла из трёх человек: майора, лейтенанта и женщины без воинского звания. По измученным, как после болезни, лицам было видно, что работа им в большую тягость. Не каждый заключённый молча уходил с документами о реабилитации, были и такие, кто за сломанную в лагере жизнь срывал на них своё зло. Гриша слышал, что на Эльгене, когда жене крупного военачальника вручили документы о реабили-

тации, она плюнула в лицо председателя комиссии. Председатель молча утёрся, а её не стали трогать, потому что трогать было нечего: кожа да кости, а по бессмысленному выражению глаз было видно, что и с головой у неё не всё ладно.

С документами о реабилитации Гриша вышел за ворота лагеря. На прииск дяди Антона машины ходили не каждый день, и он решил добираться до него пешком по берегу реки. Шёл август месяц.

Стояла солнечная погода. Всё вокруг тонуло в ярком осеннем многоцветье, воздух был напоён терпким запахом кедровой смолы и прелых листьев. Далеко на востоке в голубое небо упирались горные хребты Улахан-Чистая. Заснеженные, они не вписывались в окружающее осеннее многоцветье, казалось, искусная рука художника скопировала их с тибетских полотен Рериха.

Пройдя километра два, Гриша решил подняться на сопку за брусникой. На поляне, где она росла, из-под его ног выпорхнула стая куропаток. Усевшись недалеко на ветках лиственниц, куропатки с осторожным любопытством стали наблюдать за ним. Охранял их взгромоздившийся на вершине высокий лиственницы куропач с красным гребнем. На другой стороне реки Гриша увидел пасущихся в высокой траве якутских лошадей. Утомлённые жарким днём, они лениво отмахивались от паутов хвостами. Недалеко от них стояла якутка с белым платком на голове. Коротконогая, как все якуты, она, казалось, вросла в землю. Рядом с ней лежала рыжая собака.

Километрах в пятнадцати от прииска Гриша вышел на стан сенокосчиков. Состоял он из двух палаток и дощатого домика. В палатках никого не было, видимо, все были на покосе, а в домике у печи стояла деревенского вида женщина и жарила рыбу.

– Ай, из лагеря? – встретила она Гришу. Узнав, что он и на самом деле из лагеря, подозрительно спросила: «А ты не беглый?».

Гриша коротко сказал женщине, кто он такой.

– Либилитированный, значит, – поняла она.

На ней, как и на якутке, был белый платок, и она была корот-

коногой, похоже, левый глаз у неё немного косил. Звали женщину Марьей.

– Ну, садись, кормить буду, – предложила она Грише и поставила на стол сковороду с жареным хариусом и целый таз с резаным на кусочки хлебом. Хариус был зажарен до коричневой корочки, а от хлеба шёл приятный запах сдобной приправы.

– Да ты не торопись, – увидев, как Гриша накинудся на еду, рассмеялась Марья. – Ой!, – вдруг спохватилась она, – совсем забыла!

И скрылась за печкой. Из-за печки она вернулась с большой алюминиевой кружкой голубичной наливки. От наливки у Гриши приятно закружилась голова, и всё, что было в домике, показалось ему по-домашнему уютным, а Марья, что сидела напротив, и, подперев подбородок рукой, смотрела, как он ест, уже давно знакомой. Когда Гриша наелся, Марья, спросила: «Горя-то, небось, немало хватил?».

И Гриша, как это часто бывает, при встрече с незнакомыми людьми, открыться перед которыми всегда проще, чем перед близкими, рассказал ей о том, как воевал в Белоруссии и Франции, как сидел в немецком лагере и бежал оттуда, что хватил в советском лагере. Слушая его, Марья плакала. Ведь и её муж сгинул на войне без вести пропавшим, и, кто знает, может, тоже сейчас сидит где-то в лагере и ждёт своего освобождения.

– Остался бы на ночь, – предложила, провожая Гришу, Марья. – Места хватит.

– Спасибо, – ответил ей Гриша. – За всё спасибо. Дай бог тебе здоровья.

Уже скрываясь за перелеском, Гриша видел, как Марья всё не уходила с крыльца и, не отрываясь, смотрела ему вслед.

IX

Год назад Антон Николаевич вышел на пенсию. За этот год он привёл в порядок рукопись Котельникова «Быт и нравы колымских инородцев». Котельников уже был посмертно реабилитирован, Антон Николаевич надеялся, что книга его теперь будет опубликована. Писалась она в непригодных для

этого условиях: при керосиновой лампе и на плохой бумаге, иногда на якутских стойбищах и у таёжных костров, поэтому работы с ней было много. Посвящалась книга профессору Скляревскому, у которого Котельников учился в Петербургском университете.

За этот же год Антон Николаевич отыскал родственников погибшего от руки бандитов Мити. Недавно на прииск приезжал его младший сын. Он учился на втором курсе института, учился хорошо, но стипендии, чтобы прожить, едва хватало. Совместным решением администрации прииска и профсоюзного комитета ему до окончания института было назначено ежемесячное денежное пособие.

Однако главное, что сделал Антон Николаевич за этот год, он отыскал Ксюшу. Полагая, что она не могла просто так бросить свою ленинградскую квартиру, и всё, что с ней делала, должно пройти через горисполком, он написал туда письмо. В горисполкоме нашли письмо Ксюши, в котором она сразу после войны справлялась о своей квартире, и, взяв из него её сибирский адрес, сообщили его Антону Николаевичу. Недавно он получил от Ксюши ответ на своё письмо. «Милый Антон Николаевич, – писала она, – какое счастье и какое несчастье пришли ко мне с Вашим письмом. Счастье моё в том, что Гриша жив, а несчастье, – что его нет со мной, и уже никогда не будет». И Ксюша сообщала, что она уже замужем и от мужа у неё сын. В конце письма Ксюша написала: «Теперь каждую ночь, когда все спят, я плачу. Господи, дай силы пережить мне и это».

Когда Гриша вернулся из лагеря, Антон Николаевич не знал, что делать с письмом Ксюши. Не отдать ему письмо и оставить его в неведении нельзя, ведь кроме Ксюши у Гриши в Сибири ещё и дочь Ира, отдать – оно станет для него большой болью. Ведь это только разум говорит, что ни одна любимая женщина не может ждать тебя много лет без вести пропавшим, но сердцу понять это не прикажешь.

На встречу с Гришей Антон Николаевич пригласил Горбатова, Василия и отца Алёши, Петра Сухова. Встреча была тёплой, говорили о жизни, вспоминали прошлое. У каждого было что

вспомнить. Гриша с Петром Суховым вспоминали партизанские бои в Белоруссии, добрым словом вспомнили командира отряда Белобородько, дядю Митрю и его сына Санько. Пётр сообщил, что Белобородько сейчас ходит в секретарях райкома партии, а дядя Митря и Санько погибли. Случилось это так. Раненого в руку Санько фашисты взяли в плен и решили повесить. Когда его вели к виселице, дядя Митря из-за угла ближайшего дома открыл по ним из автомата огонь. Бросившегося бежать Санько фашисты успели застрелить, погиб в неравном бою и дядя Митря.

К концу вечера в доме Антона Николаевича неожиданно появилась жена Асика. Это была уже не та женщина, что до войны, когда Асик ходил в главных геологах прииска, манерничала и кривлялась перед гостями, вилку за столом держала с далеко оттянутым в сторону мизинцем, а пригубив вино, жаловалась: «Нынче и вина хорошего не достанешь». Сейчас, сидя, с опухшим лицом и жёлтыми под глазами мешками, жена Асика была похожа на женщину, у которой нет ни угла своего, ни дома.

– Григорий Григорьевич, – обратилась она со слезами к Грише, – может, вы встречали на войне моего мужа? До сих пор от него ничего нет.

Гриша ответил, что на войне её мужа не видел. Не мог же он рассказать ей о том, как в немецком концлагере за стукачество они с Кузьмичёвым утопили её Асика в канализационном колодце. Когда все разошлись, Антон Николаевич отдал Грише Ксюшино письмо. Прочитав его, Гриша побледнел и вышел на улицу. Домой он долго не возвращался. В окно Антон Николаевич видел, как он сидел на крыльце и курил папиросу за папиросой. Вернувшись в дом, Гриша сказал «Завтра еду к Ксюше».

Х

Осеннее солнце греет плохо. По утрам оно долго стоит над горизонтом, а едва поднявшись в зенит, уже спешит к своему вечернему закату. Если по ночам стоят заморозки, холодное их

дыхание остаётся на весь день. Небо в такие дни не кажется бездонным, как летом, словно вылитое из стекла, оно сковывает всё, что лежит под ним. В лесу в такие дни не поют птицы, не спешат нести свои воды реки, если в небе появляются журавли, то кажется, что летят они на юг с большой неохотой.

В один из таких дней Гриша добирался до Ксюшиного села на попутке. Дорога была в ухабах, на месте выбоин стояли лужи, и шофёр, чтобы не оставить в них машину, брал их с разгона. В одной из них ему не повезло: машина села по самые оси.

– Ну, всё! – выйдя из кабины, сплюнул он под колесо. – Теперь жди Мишку.

Мишка, по его словам, это тот кореш, что едет за ним.

– И скоро он будет здесь? – спросил Гриша.

– А шут его знает! – ответил шофёр. – Может, вечером. А не успеет загрузиться на базе, то и завтра, дай бог, к обеду.

– Ну, тогда я пойду, – решил Гриша добираться до Ксюшиного села пешком.

– Чайку бы выпил, – предложил шофёр. – Костерок я сейчас мастерю.

– Нет, спасибо, – отказался Гриша.

На полпути дорога привела его в похожее на всеми брошенное село. Казалось, всё в нём вымерло, только собаки в подворотнях, которым лаять на Гришу было лень, да хрюканье в стайках свиней говорили о том, что здесь кто-то и живёт. Уже перед выходом из села, Гриша увидел, как из дверей крайнего дома с гармошкой в руках вышел краснолицый мужик. Он сел на крыльцо и, растянув гармошку, запел:

– Без любви прожить

Не получится,

А с любовью жить,

Только мучиться.

И растянув гармошку ещё шире, продолжил:

– А с любовью жить,

Только маяться.

Почему же так

Получается?

Увидев Гришу спросил: «А ты куда идёшь?»

Гриша ответил.

– Эва, – удивился мужик, – да ты и к вечеру туда не дойдёшь!

И пригласил в дом Гришу выпить. Гриша отказался.

– А зря! – почесав затылок, мужик пожаловался, – жёнка меня бросила. А одному – хоть в петлю.

За селом дорога пошла по жнивью. С чахлыми берёзами, она уходила до самого горизонта, унылую картину дополняли копошащиеся в жнивье вороны, а за спиной всё пел мужик:

– А с любовью жить,

Только маяться.

Почему же так

Получается?

За жнивьём, где пошли берёзовые перелески, Гришу нагнал верховой.

– А ты куда идёшь? – как и краснолицый мужик, спросил он.

Гриша назвал село.

– Дак и я туда. Кому передать, чтоб ждали?

– Решетовой Ксении, – ответил Гриша.

О как! – удивился верховой и поскакал дальше.

Когда Гриша подходил к Ксюшиному селу, уже закатывалось солнце. Оно было большим и холодным. Через деревянный мост перед селом пастух перегонял, возвращавшиеся с пастбища, стадо коров. На мосту они мешали друг другу пройти, а что были за ними, торопясь домой, протяжно, как в трубу мычали. В длинном, до земли, плаще пастух, подгоняя их, громко хлопал бичом. Когда стадо коров прошло через мост, Гриша увидел у него женщину. «Ксюша!» – ударило ему в сердце. Да, это была Ксюша! Увидев Гришу, она бросилась к нему бежать, но её не удержали ноги. Она упала, а когда поднялась, дальше бежать не смогла. На груди Гриши она плакала и всё повторяла: «Гриша! Милый Гриша! Как я тебя ждала! Господи, за что нам всё это?!»

Уже за столом Гриша заметил, что Ксюша вся седая, а в глазах стояла та усталость, которая неизбежно приходит к пере-

жившим много людям. Она уже не плакала, а всё, забыв, что недавно это говорила, просила Александра Петровича: «Саша, ты уж меня прости. Гришу-то я всё люблю».

За столом была и Ира.

– Папочка, – говорила она, – мы так тебя с мамой ждали.

Она была очень похожа на молодую Ксюшу. Те же большие голубые глаза и озорные веснушки на лице.

Александр Петрович больше следил за столом, иногда шёл в спальню к Коленьке и много курил. Отвлёкся он от этого, когда с Гришей разговорились о войне. Оказывается, они вместе защищали Брест: Александр Петрович в составе 303-го артиллерийского полка, а Гриша в погранотряде.

Провожали Гришу на городском вокзале Ксюша, Ира и Александр Петрович. Ксюша всё держала руку Гриши и повторяла: «Ты уж себя береги». Ира обещала, что после окончания университета она обязательно к нему приедет, а Александр Петрович, пытаясь разжечь потухшую папиросу, ломал спички. Когда тронулся поезд, Ксюша побежала за Гришиным вагоном, Ира стала махать снятой с головы косынкой, а Александр Петрович всё не мог разжечь свою папиросу. «Прощай, Ксюша, – разрывалось сердце Гриши, – мы уже с тобой никогда не увидимся».

Часть V

I

Ушли в прошлое лихолетья. От гражданской войны остались воспоминания, от политических репрессий безымянные кладбища, от войны с фашистами братские могилы. Начиналось строительство новой жизни, и все верили, что будет она не такой, как раньше. Не будут стрелять по своим, чёрные воронки переделают на хлебозовки, чужая нога не ступит на родную землю. Нынешнему, с оглядкой живущему поколению, трудно понять, как можно было верить в это, если прошлое у людей состояло из одних страданий. Оно не знает, что в годы лишения на смену осознанной, взятой из опыта вере, приходит сле-

пая. В ней мы верим в лучшее, потому что знаем: постоянного в мире ничего нет. На смену ненастью приходят светлые дни, за половодьем следует межень, больной, если он не умирает, выздоравливает. Не поэтому ли проговорённый к смерти и ест, и пьёт, и не бьётся головой о стены камеры, а утопающий хватается за соломинку. Особое место во взглядах на будущее занимало послевоенное поколение. Оно не знало ни гражданской войны, ни политических репрессий, а голод в войну с фашистами вынесло на плечах своих матерей. Это поколение верило в лучшее будущее, потому что молодость всегда видит впереди одно светлое.

В забитом людьми плацкартном вагоне с Григорием Решетовым ехали комсомольцы на строительство Братской ГРЭС. Они пели:

– Главное, ребята,
Сердцем не стареть.
Всё, что не допето,
До конца допеть.

А на станциях бегали на почтамты и отбивали телеграммы родным и близким о том, что до Братска остались считанные километры. А в соседнем с Григорием купе на кого-то наседали молодой голос.

– Я что хочу сказать! – горячился он. – Главное – и не голова, а руки. Вот возьми меня. Крутить баранку могу? Могу. Сварку знаю? Знаю. Токарем? Да ради бога. Не-е, – похоже, уже потирал руки молодой голос, – я не пропаду!

– Зачем болтай?! – сердился с верхней полки над Григорием татарин. – Как без голова? Кто бумажка писать будет? Чито, и Пушкин лопата давал нада?

В купе с Григорием ехал уполномоченный по хлебозаготовкам, во внешнем виде которого бросались в глаза круглое лицо, пухлые, как у ребёнка, губы и короткие руки. На полной фигуре они были похожи на ласты тюленя. Похоже, за пределы вверенных ему хозяйств в своей жизни он далеко не уезжал. Многому, о чём говорили в купе, удивлялся, как удивляются дети тому, что видят впервые. Сейчас перед ним сидел с огром-

ной, в лопату бородой, дядя и рассказывал про Антарктиду, на которой, по его словам, он съел не одну собаку.

– У-у, – гудел он через бороду, – морозы там – и не подходи! Плюнул, а изо рта льдина.

– Что вы говорите?! – удивлялся уполномоченный.

– А пингвины – что твои свиньи, – продолжал дядя.

– Что вы говорите?! Свиньи?! – всплёскивал руками уполномоченный.

Когда дядя ушёл в ресторан, место его занял возвращавшийся с отпуска боцман. У него тоже была борода, и он, оказывается, немало на свете видел.

– У-у, – гудел и он через бороду, – тайфуны там – и не подходи!

– Что вы говорите?! – удивлялся и ему уполномоченный.

– А папуасы – что твои обезьяны, – переходил на тропики боцман.

– Что вы говорите?! Обезьяны?

Похоже, боцман плохо разбирался в географии.

– Идём это мы на Таганрог, – закурив, продолжал он.

– Зачем болтай? – сердился опять татарин над Григорием. – Таганрог моря нет.

– Это у нашего Таганрога моря нет, а китайский Таганрог на море, – не согласился с ним боцман.

– Что вы говорите?! На море?! – удивлялся и этому уполномоченный.

Всё это отвлекало Григория от тяжёлых мыслей. Хуже было ночью, когда все спали. В вагоне становилось холодно, храпел боцман, казалось, в горле его кто-то перекрывает ржавое железо, стонал татарин, а за окном стояла тёмная тайга, над ней плыла холодная, ко всему безучастная луна. Иногда за окном пробегали в хвост поезда, сверкающие огнями селения, казалось, никто в них не спит, все живут в ожидании каких-то тревожных событий. На постах у железнодорожных переездов провожали дежурные. Их лица, освещённые слабым светом фонарей, были, как у покойников, серыми, на полустанках, где останавливался поезд, не было встречающих, лениво, как по-

сле долгого сна, расхаживали по перрону дежурные, пыхтел, заправляясь водой, паровоз.

«Что делать?» – спрашивал себя Григорий. Прошрое потеряно, воспоминания о нём уже не трогают сердце. Даже обиды на власть, ни за что продержавшей его многие годы в лагере, у Григория не было. Обижаться на неё, что обижаться на погоду. Погода не спрашивает у нас, какой ей быть, а власть не у каждого спросит: так ли я делаю. Даже в лагерях заключённые срывают злость не на большом начальстве, а на охране. В лагере заключённый, которому Москва отказала в прощении, зарезал сержанта, сообщившему ему об этом.

Не представлял Григорий и своего будущего. Как слепой, не видя дороги, идёт по посоху, так и он, не зная, что впереди, идёт туда наощупь. И встретит ли он там утешение своё, или ждуг его там новые страдания, кто знает.

II

Осенью умер Антон Николаевич. Похоронил его Григорий рядом с Ирэткэной на Эмтегейском кладбище. На похоронах были бывший директор Митина прииска Горбатов, и сын отца Парфёна, Василий. Оба в строительство новой жизни уже не годились, и не только потому, что были старыми. На производстве на смену дальстроевскому единоначалию пришло коллективное управление, и не отними у этого Горбатова власть, он много наломает дров.

– Куда вбить гвоздь, и это коллективом решают, – сердился Горбатов.

А Василий не годился в новую жизнь, потому что охранять на Колыме стало некого. Власти, решив, что производительность подневольного труда на промывке песков низкая, всех заключённых вывезли на материк.

– Как будто под Красноярском на лесоповале она будет выше, – не понимал этого Василий.

Не годился в новую жизнь Василий и потому, что с обнаружением документов о сталинских репрессиях смотреть на него стали, как на преступника, как будто он не только охранял

жарили на костре мясо. Укладываясь в палатке спать, Антон Николаевич часто говорил: «Что-то Миша не пишет». А Миша и на самом деле письмами отца не баловал. На день его рождения и в праздники слал ему телеграммы, а между ними письма шли редко и только деловые.

Когда Антона Николаевича закопали и все разошлись, Алёша остался на кладбище. У него сильно болела голова. Стало легче, когда выпил водки. Был уже полдень, солнце, застывшее в зените, казалось, уходит с неба не торопится, прозрачное, как стекло, небо за таёжными далями уходило в голубую дымку, звенел на перекрестках Эмтегей. Недалеко от кладбища, на горе, бабы собирали бруснику. На отдыхе, собравшись вместе, они пели песни. Песни были грустными, казалось, пели бабы не под ярким солнцем и светлым небом, а где-то на вечерних посиделках при керосиновой лампе. Набрав брусники, они стали собираться домой. Одна из баб пошла искать убежавшего от неё сына.

– Колька-а! – кричала она, спускаясь с горы.

Никто ей не отвечал.

– Ну, погоди, паразит! – грозила баба. – Найду, ох, и выпорю я тебя!

А Колька был на кладбище. Из-за кустов он с любопытством смотрел на Алёшу. У него, как и у всех детей, были большие уши, а лицо, похожее на горшок, всё в веснушках. Выйдя из кустов, он строго спросил: «А ты что тут делаешь?».

Заметив бутылку с водкой, спросил ещё строже: «Водку пьёшь?».

Растерявшись, Алёша стал прятать бутылку за сапог.

– А ты бутылку-то не прячь, – остановил его Колька, – я всё равно её вижу.

Когда Кольку уводила мать с кладбища, он спрашивал: «Мам, а зачем дяди водку пьют?».

– А ты у папы своего спроси. Он у нас по этому делу профессор, – отвечала мать.

А на Эмтегее ловили рыбу.

– Стёпка, бери левее! – командовал кто-то густым, как из

трубы басом. – Идол, кому говорю, бери левее! – ругался он.

Видимо, бредень оказался пустым.

– Говорил, бери левее, – сердился хозяин баса.

– Дак там глыбоко, – оправдывался Стёпка.

– Глы-ыбоко! – передразнивал его хозяин баса. – Так где глыбоко, там и рыба, – и сплюнув, ворчал, – вот и бери таких на рыбалку.

Когда ушли бабы и спустились вниз по реке рыбаки, наступила такая тишина, что стало слышно, как падают с тополей листья, Алёша решил, что и он со своей недопитой бутылкой водки здесь лишний, забрав её, он ушёл с кладбища.

Ксения на похороны Антона Николаевича прилететь не смогла, телеграммой сообщила, что Александр Петрович внезапно слёг в больницу. Несколько дней спустя Григорий получил от неё письмо. В нём она писала о том, что в больнице Александр Петрович лежит с сердцем. На войне он оставил руку, а привёз с неё в груди осколок. Сейчас осколок стал выходить, и врачи опасались, что он при этом затронет сердце. Написала Ксения и о детях. Сын Александра Петровича, Илюша, служит в полярной авиации. Недавно был в отпуске. Отцу привёз унты, а Ксении торбаса. Унты Александр Петрович отдал сыну Коле, а торбаса у Ксении забрала дочь Ира. «Вот утру нос Зойке!» – примеряя их, весело заявила она. Работает Ира корреспондентом газеты «Кузнецкий вестник», живёт в городе, приезжает редко. Сын Коля – тракторист, у него свой дом и своя семья. Село, писала дальше Ксения, собираются снести. Идёт строительство крупного металлургического комбината, и на месте села, говорят, будут прокатные цеха. Александр Петрович всё ещё ходит в председателях сельсовета, до больницы ездил в заводское управление и предлагал село не сносить, прокатные цеха построить в другом месте, а на селе организовать подсобное для завода животноводческое хозяйство, но ему там отказали: «Нам нужны не коровы, а прокат». О себе Ксения писала, что ноги её, слава богу, ещё держат, сдаёт зрение, но у кого оно хорошее в её возрасте. «Гришенька, береги себя», – заканчивала письмо Ксения.

III

Новый начальник Митина прииска Букин не знал, что делать. Совнархоз требовал план, профсоюзы выбивали из него льготы, партийный секретарь Кваша, не зная, куда приложить руки, индюком ходил по конторе и всё что-то высматривал, зайдя к Букину, говорил: «Не пора ли нам, Василий Никитич, наводить порядок?». А комсомольский секретарь Агальцов не отставал со своим Домом культуры. Без него, говорил он, в его воспитательной работе будут большие пробелы. Ходил по селу и диссидент Кошкин, говорил, что он узник совести, сидел на Лубянке, из него там выбивали признания, но он ни в чём не признался, потому что идейные убеждения ему дороже жизни. Букину Кошкин не мешал, но своими вольнолюбивыми мыслями расшатывал в коллективе дисциплину. Было заметно, как многие стали распускать языки и непочтительно относиться к тому, что раньше почиталось. Недавно Букин убедился в этом не с чужой подачи, а на живом примере.

В качестве почётного гостя Букин был приглашён на свадьбу к промывальщице Нюре Артамоновой. Выходила замуж её дочь Людка за горного мастера Трифона. Зная, что первые минуты всякой свадьбы утомительны неуклюжими попытками выставить её в обрядах уже никому не нужной старины, Букин на свадьбу Трифона с Людкой пришёл с некоторым опозданием. Видимо, уже отломал свою роль шафер, тяжело отходили от всеобщего внимания к себе посаженные отец и мать, разговор за столом набирал обороты. При появлении же Букина все смолкли и дружно повернули в его сторону головы. Это ему не понравилось. Он и хотел-то не больше, как тихо здесь посидеть, а потом незаметно уйти. Пришлось поздравить молодых, пожелать им и семейного счастья, и крепкого здоровья. Когда он закончил своё поздравление и, выпив рюмку водки, сел на своё место, к нему обратилась Нюра.

– Ну, а как ваши дела? – спросила она.

– Какие дела? – не понял Букин.

– Производственные, – уточнила Нюра. – К примеру, с выполнением плана как?

«Чёрт меня дёрнул прийти сюда! – раздражённо подумал Букин. – Устроят ещё здесь собрание». Опасения его скоро оправдались. Всем вдруг захотелось высказать свои соображения о делах прииска. Сидящий напротив кузнец стал выговаривать ему за то, что кованные им пятёркой сани год беспризорно валяются на территории.

– Получается какая-то макалатура, – развёл он в заключение руками, похожими на две большие кувалды.

– При чём тут сани? – перебил его рыжий мужик с выпученными глазами. – Про главное надо!

– Товарищи! Товарищи! Здесь не собрание! – закричал опомнившийся тамада.

Но было уже поздно. Все бросились на Букина.

– Дармоедов много! – кричал кто-то так громко, что казалось, звенела на столе посуда.

Выходило, как понял Букин, завхоз у него большой вор, главный инженер горький пьяница, а жена, ловко пригревшая свой зад в бухгалтерии, всем затыкает рты.

– Своей секретутке премию, а я что, мордой не вышла? – кидалась на него юркоглазая кладовщица.

– А верхонков! Верхонков не дают! – в лад с кладовщицей верещала бабёнка с пробоотбора.

Её громко перебивали: «Вопрос о верхонках – в рабочем порядке».

За столом уже стоял такой гвалт, что хоть затыкай уши.

– Дайте, и я скажу! – кричал кто-то из дальнего угла.

А бабёнка с пробоотбора всё не могла успокоиться.

– Ишь, манёру взяли! – бормотала она сердито.

А над всеми гудел бас кузнеца: «Макалатура получается».

Трифон, которому казалось, что на производстве его недооценивают, набрасывается на Букина сорвавшимся с цепи кобелём: «Я что, тупее валонка?! Да?!»

Не получив ответа, кричал: «Ну, это мы ещё посмотрим».

Не унимался кто-то и в дальнем углу.

– А завхоз-то, братцы, его родной брательник! – слышалось оттуда.

Хлопнув дверью, Букин ушёл со свадьбы. На следующий день он собрал у себя всех руководителей отделов. Им он сказал, что работают они плохо, не видят, что творится под носом, не пресекают болтунов, которых уже хоть лопатой греби. Завхозу он приказал разобраться с кладовщицей: не много ли она тащит со склада, заведующему мехцехом велел узнать, не пора ли кузнецу на пенсию: не ему решать, куда идут сани, начальнику участка приказал перевести Трифона в рабочие: пусть много о себе не думает. И посыпались с этого дня на коллектив приказы с увольнениями, выговорами и последними предупреждениями. Так как попасть в приказ ничего не стоило, распускать языки в коллективе перестали, не унимался один диссидент Кошкин. «Меня, – говорит он, – ничем не напугаешь, я на Лубянке сидел». Он же накатал на Букина статью в районную газету «Горняк Севера». В ней он писал о том, что Букин в коллективе душит критику, тем, кто говорит правду, затыкает рты, неугодных увольняют, в закулисных разговорах поносит хрущёвские совнархозы, критикует он и партию за потерю в этих совнархозах руководящей роли. «С такими, как Букин, – заканчивал статью Кошкин, – последствий культа личности Сталина не преодолеешь».

Жаловаться на редактора «Горняка Севера», пропустившего эту статью, Букин поехал в райком партии. Там он сказал, что если коллектив не наказывать, он тебе сядет на шею и плана в добыче золота не даст. «Так-то оно так, – ответили ему в райкоме, – но вы уж, пожалуйста, как-нибудь помягче».

IV

Ира больше походила на мать. У неё, как и у матери, в довоенной молодости, были по-детски открытое лицо, пухлые, с ямочками щёки и аккуратно задёрнутый вверх нос. И характер у неё был материнский. Как и мать, она была со всеми общительной, если на кого-то и сердилась, то быстро отходила, врагов у неё не было, а друзья, казалось, не вылазили из её комнаты в общежитии. В редакции газеты она отвечала за работу с письмами трудящихся, но в последнее время редактор

Самохвалов стал привлекать её ещё и к сельской тематике. К ней у Иры руки не лежали, и ехать в село за материалами она часто отказывалась. Самохвалов в это случае говорил: «Ну, не посылать же мне туда Крутика».

У Крутика до неё все хозяйства были на одну колодку: зерновые, по его словам, успешно поднимали хлеба, животноводческие – досрочно выращивали свинину, молочные с опережением графика выдаивали коров.

Снял Самохвалов его с сельской тематики после того, как один из председателей колхоза, смеясь, сказал ему: «Ты Крутика ко мне больше не посылай. Стоит на овсе и спрашивает: «Товарищи, а где тут у вас Овёс?»».

В понедельник утром, выслушав кого-то по телефону, Самохвалов сказал Ире: «Поезжай на Елань. Убит Геращенко. Похоже, будет громкое дело».

«Не хватало мне ещё трупов!», – хотела фыркнуть Ира, но не фыркнула, потому что знала, что Самохвалов всё равно не отстанет. Это он с виду тюха-матюха, а на самом деле упрётся – бульдозером не сдвинешь.

До котлована под строительство завода Ира ехала с судмедэкспертом и следователем на райисполкомовском уазике. Далее, до Елани, шло бездорожье, здесь их ожидала подвода. Был уже поздний вечер, и они решили переночевать здесь, в рабочем балке. В нём, кроме сваренной из листового железа печки, грубо сколоченного стола и двухъярусных кроватей под солдатскими одеялами, ничего не было. В ожидании, пока вскипит чай, не снимая своего потёртого до дыр плаща, следователь лёг на кровать и стал читать взятую с собой книжку. У него было помятое, как после бессонной ночи, лицо, и казалось, книжку свою он долго читать не будет, скоро уснёт, не дождавшись чая. Звали его Иваном Ильичом. Судмедэксперт, представившийся Ире Янковским, был заметно моложе Ивана Ильича. У него были похожий на птичий клюв нос, и длинная, не по росту шея, и когда он подходил к окну и смотрел в него, казалось, сейчас он в него ещё и клюнет.

– Не-ет, батенька, – обращался он к Ивану Ильичу, – что бы

вы мне ни толковали, а прогресс есть прогресс, и только в нём наше будущее.

Было видно, что Янковский рисуется перед Ирой, строит из себя большого интеллигента, и чтобы подчеркнуть, что идёт это к нему больше не от образования, а по родословной от знаменитой в прошлом фамилии, употреблял в обращении к Ивану Ильичу выражения, уже исчезнувшие из лексикона нового человека.

– И позвольте заметить, дорогой Иван Ильич, – продолжал он, – я дам десять очков вперёд всякому, кто позволит со мной не согласиться. Не было бы прогресса, мы бы с вами хлебали щи с тараканами и пили водку в жидовской корчме. Да-да, не смотрите на меня так. Убедить меня в обратном вы всё равно не сможете.

Видимо, Иван Ильич Янковского не слушал, он всё также не отрывался от своей книжки. Это Янковского, похоже, стало злить. Он нервно подошёл к окну, и казалось, что уж теперь-то в него обязательно клюнет.

– Значит, голубушка, и вы с нами? – снимая с печки чайник, спрашивал он. – Ну-ну, посмотрим, что это вы там про нас напишите. Ведь у вас, писателей, в каждой строке так и ищи скрытый смысл. Такое иной раз напишете, что и мама родная не узнает.

Слушать Янковского Ира не захотела. Оставив недопитым чай, она вышла на улицу. Была уже ночь, моросил дождь, на небе не было ни звёзд, ни луны. Рядом с балком, под телегой, сидел старик. В отблесках у ног разложенного костра лицо его было медным, как у бедуина. «Это он за нами приехал», – догадалась Ира.

– Вы почему не идёте в балок? – спросила она.

– А Лысуху своруют, – мотнул старик в сторону привязанной к телеге белой лошади.

Лошадь на Иру не обратила никакого внимания. Уставившись в темноту, она смотрела туда с таким видом, словно ожидала, что скоро из неё кто-то выйдет. А из неё и на самом деле скоро вышел парень в заляпанной глиной брезентухе.

– Здорово были, – приветствовал он Иру со стариком.

– А, Пронька, – узнал его старик. – Ну, садись к костру, гостем будешь.

– А я смотрю, свои. Думаю, дай зайду. Как там мои-то? – спросил, закуривая, Пронька.

– Твои-то?! – повысил голос старик. – Да ждут тебя, дурака, отец и ремень уже припас, – и, обратившись к Ире, сердито заметил, – вот моду взяли! Бегут из колхоза – держи только ноги. Нам, говорят, колхоз не по нутру, мы стройки поднимать хотим. И много ты их поднял? – вернулся старик к Проньке.

– Никого не поднял. Я котлован рою, – ответил он.

– А тебе он нужен? – ехидно спросил старик.

– А я знаю?! – похоже, рассердился и Пронька. – Говорят, что какую-то домну будут строить.

Попрощавшись, он ушёл, а Ира пошла посмотреть, что делают в котловане. Забывая сваи, на дне котлована ухал пневматический молот, словно выбиваясь из последних сил, стучал компрессор, казалось, ещё немного, и он взорвётся, трещали, как при коротком замыкании, сварочные аппараты, по узкоколейке катали гружёные цементным раствором вагонетки, в свете расставленных по периметру котлована прожекторов казалось, что работают в котловане не люди, а их тени.

– И чего делают, – услышала Ира за спиной голос старика. – В колхозе пахать некому, а тут их, – показал он на человеческие в котловане тени, – почитай, и на два колхоза хватит.

А к котловану подошла рабочая электричка. Из неё повалила новая смена. Вся она была в одинаковых, серого цвета брезентухах, и, глядя на неё сквозь мутную пелену дождя, казалось, выходят из вагонов не люди, а выгружают из них мешки. Спустились в котлован все, как в преисподнюю, молча. Молча поднималась из него и отработавшая своё смена. Движения у всех были, как от непосильного на спине груза, тяжёлыми, землистого цвета лица, кроме тупого безразличия ко всему, ничего не выражали.

На Иру со стариком снова вышел Пронька.

– Дед, моим-то передай, у меня всё хорошо, – сказал он и, не-

ловко сняв с себя брезентовую куртку, подал её старику. – Бате отдай, всё где сгодится.

Без куртки, в вытертом на локтях свитере, Пронька стал похож на обиженного кем-то подростка, казалось, ещё немного и он расплачется.

– Проня, может, вернёшься? – спросил его старик.

– Не знаю, – тихо ответил Пронька и торопливо пошёл к своему вагону.

В балке Иван Ильич и Янковский уже спали, а Ира уснуть долго не могла. Казалось, и здесь, в балке, она слышит, как ухнет в котловане молот, стучат компрессора, трещат сварочные аппараты, и видит на дне не людей, а их тени. Станет ими, думала она, и мешками вывалившаяся из электрички новая смена, и она будет вбивать в землю сваи, варить и резать железо, катать вагонетки, а потом, как и старая смена, молча, с тупым, как у каторжан, безразличием ко всему поднимется наверх, займёт свои места в электричке и её, как и старую, развезут по общежитиям и тесным коммуналкам, чтобы набраться в них сил на новые котлованы.

V

Работал Алёша в лесхозе старшим лесничим. Жил он больше не дома, а в зимовье, срубленном на Светлом. Название ручью дали геологи, видимо, за то, что в долине его много росло белой пушицы, поэтому и в ненастье казалось, что здесь светло, как и в ясную погоду. Зимовье Алёша срубил на террасе, где уже началась лиственница. Здесь же росла берёза. Ниже шли тополя и чозении, ещё ниже, у самого ручья, густые заросли ивы. Выше зимовья, на крутом склоне сопки, росли кедровый стланик и горная смородина. Ещё выше шли гольцы, где кроме лишайника и ягеля ничего не было. В нижнем течении ручья росла рябина, здесь же было много малины, шиповника и речной смородины. Много на Алёшином ручье было цветов. Рано по весне появлялись жёлтые подснежники, летом сиренью расцветал иван-чай, ближе к осени в пойме – голубика, на сопках брусника утопала в белом цвету, а поздней осенью склоны со-

пок полыхали в ярко-красной воронике. Росли на ручье и редкие на Колыме эдельвейсы и рододендроны.

Вставал Алёша летом рано, когда начинали токовать глухари. Рука на них у него не поднималась. За глухарями просыпались кедровые гаечки. Они сразу же начинали искать всё, что годилось в пищу. Кедровки склёвывали на стланике орешки, гаечки ловили мошек. Потом просыпались дятлы. Они выклёвывали из сухостоин личинки короедов, отрывали такие пулемётные трели, что просыпались уже и ленивые вороны. Раскрыв глаза, вороны долго осматривали, что находится под ними, как будто вчера, укладываясь спать, этого они не видели. Иногда на ручей прилетали оляпки. Они за личинками ныряли в воду, а наевшись, устраивались в кустах и пели звонкие песни. Жил на ручье и филин. Ночью он, как в трубу, ухал, а днём высиживал в гнезде птенцов.

Летом за грибами, а осенью за малиной приходили на ручей медведи. Они так привыкли к Алёше, что внимания на него не обращали. При встрече с ним никуда не убегали, а спокойно уступали ему дорогу. Волки приходили к Алёше зимой. Видимо, голодные, они надеялись поживиться тем, что он выбрасывал на помойку.

Недавно Алёша ездил в Магадан в управление охраны природы с предложением сделать Светлый областным заказником. С ним охотно согласились и даже обещали, чуть что, бить по рукам тех, кто на заказник их поднимет.

Дома Алёшу всегда ждала жена Агаша. Такая же, как и он, белобрысая с острым, как сосулька, носом, она была похожа на подростка, хотя и успела нарожать ему двух мальчиков и девочку. Когда Алёша предлагал ей для ровного счёта родить ещё ребёнка, она отвечала: «А я согласная». Успевала она ходить не только за детьми, но и за Григорием Решетовым, который остался у них жить после смерти Антона Николаевича. У него уже плохо с сердцем, а в непогоду обострялся ревматизм. На лето Алёша увозил его на Светлый, там он помогал ему в обустройстве заказника. Однажды, когда Алёши на Светлом не было, Григорий услышал, как в берёзовой роще застучал

топор. Берёза хорошо шла на оленьи нарты, и попытки вырубить её были и раньше. Григорий кинулся к роще. За вырубкой берёз он прихватил двух парней, с ними была овчарка и два запряженных в нарты оленя.

– А ну, негодяи, вон отсюда! – крикнул им Григорий.

Увидев его, парни не растерялись, а толстомордый, что был с топором, приказал собаке: «Рекс, возьми его!».

Как справиться с собакой в такой ситуации, Григорий знал ещё по лагерю. Для этого надо левой рукой замахнуться на собаку, а когда она кинется на эту руку, всадить ей правой рукой нож в сердце. Не прошло и пяти секунд, как смертельно раненый Рекс катался по траве.

– Ах, так! – вскричал толстомордый и пошёл с топором на Григория.

Его остановил другой парень.

– Ваньша, – крикнул он, – брось его! Это же зэк, я его на Митином приiske видел.

– Ну, падла, – отступая от Григория, ругался толстомордый.

– Ты от нас всё равно не уйдёшь!

Зимой, когда у Алёши в лесу работы было немного, он, по договору с оленеводческим совхозом, шил на дому унты и торбаса. Помогали ему Григорий и Агаша. Григорий делал выкройки, а Агаша пришивала к торбасам цветные узоры из замши. Просиживали они до поздних вечеров, за окном трещали морозы, казалось, живого там уже никого нет, а у них в тепле и уюте мурлыкал на диване кот, стучали на стене ходики, потрескивало в печи. Иногда по окончании работы Алёша предлагал выпить. Григорий со своим сердцем больше рюмки выпить не мог, не выпивала больше рюмки и Агаша, а Алёша, выпив своё, говорил ей: «Мать, давай нашу!».

Песню запевала Агаша.

– Что стоишь, качаясь,

Тонкая рябина? – начинала она нежным, как из пастушеской свирели, голосом.

– Голову склонила,

– подхватывал ей тенором Алёша, –

До самого тына.
– Но нельзя рябине
К дубу перебраться,
– продолжала Агаша.
– Знать, судьба такая,
Век одной качаться,
– подпевал Алёша.

Потом пели про замёрзшего в степи ямщика и про сбежавшего с Сахалина бродягу. Слушая их, Григорий думал: «Какие милые люди». И ему казалось, что ближе и роднее Алёши с Агашей у него теперь никого нет. Под впечатлением от спетых ими песен, уже в постели, Григорий возвращался в партизанскую Белоруссию, где между боями и они пели песни, и во Францию, где после удачного боя партизаны танцевали под аккордеон и весело, словно нигде уже не рвались снаряды, и никто никого не убивал, пели песни. Тогда Григорию казалось: ещё немного, кончится война, и он найдёт Ксюшу, и тогда они тоже будут петь песни и танцевать танцы.

VI

Шёл дождь со снегом. В палатке было сыро и холодно. По утрам дымила печь, а когда разгоралась, грела только то, что рядом. Вылазить из спальников никому не хотелось, все ждали, когда вскипит чай. Ставил его завхоз дядя Ваня. Уже немолодой, но всё ещё крепко сложенный, он был похож на отставного солдата царской армии, которого не взяли ни суровая муштра, ни вражеские пули. Таких, как он, и брал в свою партию на полевые работы Миша Решетов. Другие, не дяди Ваниного склада, в поле, считал он, только путаются под ногами. Не случайно основную часть рабочих составляли у него прошедшие огни и воды бывшие зэки. Да и у дяди Вани, похоже, прошлое не было гладким. Видимо, и он ломал его через колено. Когда его спрашивали, был ли раньше женат, сплюнув, неохотно отвечал: «Была одна фенька». И зэки у Миши хоть и прошли одну школу, не были на одну колодку. Те, кто не знал, что у каждого человека есть лучшие годы жизни, эти годы они

оставляли в лагере, были ко всему безразличны, всё им было, как они говорили, до лампочки. И если их о чём-то спрашивали, они отвечали: «А тебе это надо?». Были среди зэков и такие, кто по блатной привычке претендовал на роль бугра. «Папаса, – сквозь зубы говорили они тем, кто их старше, – что-то ты, казысь, не то ботаес». Были среди зэков и юмористы. Отличался по этой части Лёнька Жгут. Когда делать было нечего, он травил лагерные анекдоты, в которых все начальники были дураками, охрана – придурками, а умные зэки только и делали, что оставляли их с носом. Отрабатывал свой юмор Жгут и на Мише. Садясь за стол, всякий раз спрашивал: «Гражданин начальник, а где моя большая ложка?». И хотя это повторялось каждый день, все весело смеялись, потому что казалось, что и здесь, если и не оставили, как в лагере, начальника с носом, то дали понять, что и они не лыком шиты, и они знают своё слово. Да и звали-то Мишу зэки не Михаилом Антоновичем как это требовало его служебное положение, а Антонычем, подчёркивая этим, что хоть ты и начальство, но выше нашего Антоныча не поднялся.

А у Миши не шло золото. В шлихах были знаки, а когда пробивались до плотика, если и попадалось что-то и выше, то было это редко. Вернуться же в Магадан без золота Миша не мог. Искать здесь золото многие геологи в экспедиции его отговаривали, но он их не слушал, полагаясь только на себя, всем отвечал: «Я знаю, что делаю». А одному из них, однажды упустившему своё золото по неопытности, подчёркивая это, сказал: «Золото есть там, где его хорошо ищут».

Полагаясь на последние канавы, надежды, что найдёт золото, Миша, всё ещё не терял. Но их надо пройти, а тут эта погода! По-прежнему шёл дождь со снегом, дул холодный ветер, и казалось, конца этому не будет. «Не размокнем!» – решил Миша и пошёл поднимать проходчиков. «А оно надо?» – не вылезая из спальников, заворачивали зэки, кому Мишины канавы, как и всё остальное, были до лампочки: «Ись суцька, циго придумал!», – цедили сквозь зубы блатные, а Лёнька Жгут, ухмыляясь, спрашивал у Миши, где его большая лопата. Согласились

идти на канавы зэки после того, как Миша пообещал им вечером дать спирту.

– Антоныч, – кричал дорогой Лёнька Жгут, – ты нам только покажи свои канавы, а уж мы-то их!

Золото в канавах взяли через три дня, пора было возвращаться домой, но погода всё не унималась, и, как сообщили синоптики, будет такой ещё долго. Миша решил не ждать вертолёт, а сплавляться по реке до расположенного в 60 километрах от них оленеводческого совхоза.

– Антоныч, оставь его, – стал отговаривать его от сплава дядя Ваня. – Посмотри, река-то какая.

А река, выйдя уже из берегов, словно взбесилась. Бурунами вздымаясь на стержне, несла вывернутые с корнем деревья, недалеко от лагеря, подмывая крутой берег, сбрасывала в воду груды песка и камня, там, где раньше был пережат, нагромоздила затор из плавника.

– Не утонем, – обрезал Миша дядю Ваню и приказал сколачивать плоты.

Зэки, не зная, что сплав по такой реке опасен, с ним согласились. На второй половине пути оба плота, одним из которых управлял Миша, а другим дядя Ваня, перевернуло, и все зайцами выскочили на берег. Плоты, и всё, что было у них, унесло водой, осталось только то, что было за плечами в рюкзаках. Вскоре убедились, что выбросило их не на основной берег, а на остров. А уже наступала ночь, всё ещё лил дождь, а когда он сменился снегом, от шуги тяжелела река, казалось, в своих берегах ей скоро станет тесно, и она затопит остров. Ночь была бессонной и холодной. У костра горело лицо и руки, но немела от холода спина, стоило повернуться к нему спиной, горела она, но немело уже всё остальное.

– Сиди-не сиди, а делать что-то надо, – сказал утром дядя Ваня, и стал снимать с себя плащ и штормовку.

Все поняли: решил дядя Ваня вплавь переправляться на другой берег.

– Переплыву, ждите из совхоза помощь, – снимая сапоги, объяснил он своё решение.

После этого дядя Ваня выпил спирту, а оставшийся во фляжке привязал к поясу. Сапоги и одежду он закрепил на голове.

– Ну, с богом! – сказал он и вошёл в воду.

Сначала дядя Ваня плыл широкими махами, а потом стал грести одной рукой. Видимо, другой он боролся с судорогой на ногах. Выбравшись ползком на берег, он выпил спирту и, обогревшись у костра, пошёл в сторону совхоза.

А остров, казалось, скоро уйдёт под воду. Уже топило расположенную рядом чозениевую рощу. Миша приказал делать настилы из валёжин, но его никто не слушал. Те, кому раньше было всё до лампочки, трусливо жались друг к другу, блатные, сидя на берегу, сплёвывали в воду и гадали: «Неузели подлюцька затопит?», а Лёнька Жгут забрался на самое высокое дерево и слазить с него не хотел.

Помощь пришла на двух моторных лодках. Через час все были в совхозе. Каждому в совхозе дали по стакану водки, хорошо накормили. А утром директор совхоза говорил Мише: «Или ты увезёшь своих бандитов, или я не знаю, что с ними сделаю».

Оказывается, вчера, напившись, сначала зэки катались верхом на совхозных оленях, потом гонялись по селу за девками, а ночью один из них, забравшись в магазин через окно, выпил там бутылку водки и уснул под прилавком.

VII

Осенью сняли Хрущёва, вскоре разогнали совнархозы и восстановили министерства. Добыча золота на Колыме и Чукотке перешла в руки объединения «Северовостокзолото». Восстановлена была и руководящая роль партии. Теперь парторг Митина прииска Кваша уже не мучился от безделья, не ходил, как раньше, индюком по конторе, не спрашивал Букина: «Не пора ли нам, Василий Никитич, наводить порядок?», а наводил этот порядок в соответствии с руководящими партийными документами. Поставили на место и профсоюзы. Хватит выбивать льготы, сказали им, советские профсоюзы не богадельня, а, как говорил товарищ Ленин, школа коммунизма. Вот и учите это-

му коммунизму свои коллективы. Поставили на место и комсомольского секретаря Агальцова. Ему сказали: «Воспитывать молодое поколение надо не языком, а делом». Агальцов взялся за лопату и не выпускал её из рук, пока не стал бригадиром комсомольско-молодёжной бригады. Долго не удавалось поставить на место диссидента Кошкина. Он по-прежнему распространял свои вольнолюбивые мысли, а тем, кто пытался его одёрнуть и призвать к ответу, говорил: «Меня ничем не напугаешь, я на Лубянке сидел». Вскоре Кошкин накатал статью в газету «Горняк», в которой поднял руку уже не на Букина, а на всю нашу партию. По нему выходило, что партия в экономике ни бум-бум, её секретари только и делают, что руками машут. «А руками-то махать, – заканчивал Кошкин статью, – и мы умеем».

«Ах, ни бум-бум!» – возмутились в райкоме, дальше которого статья не ушла. – Ну, мы тебе и покажем!». И завели на него дело. Когда это дело попало в руки КГБ, Кошкина направили на психиатрическую экспертизу. Так как и психиатр считал, что нормальный человек руку на свою партию не поднимет, Кошкина он признал ненормальным. В психиатричке через год Кошкин и на самом деле сошёл с ума, но вольнолюбивых мыслей своих не оставил. Главврача, который о себе много думает, он требовал поставить на место, а завхоза, у которого в уборной никогда не бывает туалетной бумаги и утирать зад приходится указательным пальцем, он требовал немедленно уволить.

А директора прииска Букина голой рукой уже было не взять. В кабинете он не сидел за столом, а, как и положено большому начальству, над ним возвышался, на полигоне он был похож на полководца, отдающего последние распоряжения перед боем. За ним шла свита из мелкого начальства, в стороне, там, где можно проехать, следовала его чёрная «Волга». «А эт-та что такое?!» – кричал он зазевавшемуся под ногами рабочему. Начальник участка объяснял, что это пробоотборщик, он пробивает в земле копуши, чтобы узнать, сколько во вскрытой части полигона золота, но Букин его не слушал. «Бить баклуши никому не позволю!» – кричал он.

Закрыл Букин в посёлке и пьяную лавочку. В ней мужики с похмелья восстанавливали свои силы на предстоящее выполнение производственных заданий. Справился Букин и с проститутками, которых много понаехало с последним комсомольским набором. Сначала он хотел с ними по-хорошему, взять их словом, но это у него не получалось. «А ты со мной спал? Ну, и отвали!», – кричали они в один голос и грозили подать в суд за оскорбление личности. В борьбе с этими тварями, иначе их Букин уже не называл, пришлось пойти на подмену мотивировок их увольнения. Увольнял их Букин не за проституцию, а за систематическое нарушение трудовой дисциплины. Он знал, нарушают её все: одни распивают на работе чай, других за десять минут до окончания смены – как ветром сдуло.

«За кого бы ещё взяться?» – думал Букин после проституток. Взяться ни за кого он не успел. Позвонил из Магадана генеральный директор объединения Крутов и сказал: «Жди начальника Главка. Через два дня будет. Да смотри, Букин, – предупредил он, – что б и комар носа не подточил». «Слушаюсь!» – по-армейски ответил Букин. «Да ты каблуками-то не стучи, слышу, – сказал на обратной стороне провода Крутов, – стучать перед начальством Главка будешь».

Букину сразу же не повезло. Когда начальник Главка выходил из машины, от недалеко расположенной помойки потянуло ветром. «Фу, какая вонища! – зажал нос начальник Главка. – Вы что тут, под себя ходите?». И посёлком он остался не доволен. «Вы что тут, не можете офасадить дома и ошоссеить дороги?» – строго спросил он. В конторе прииска он не увидел нужной наглядной агитации, а в кабинете Букина, не обнаружив портрета главного руководителя страны, аж затопал ногами. На полигоне начальнику Главка показалось, что бульдозеры, толкающие пески в бункер, много дают холостых ходов, уходя с него, заметил: «И грязищи у вас тут – лопатой гребь».

У начальника Главка был круглый, как тыква, живот, и короткие, в больших, английского производства ботинках, ноги, и когда в кабинете Букина он топал ими, казалось, это он не топает, а пытается выпрыгнуть из своих больших ботинок. «Ну,

хватит, – не вытерпел начальник Главка, – на вас смотреть у меня уже нет сил. Давайте, что там у вас на второе?».

На второе у Букина была охота на медведей. Чтобы начальник Главка в медведя не промахнулся, Букин решил этого медведя посадить на петлю. Поручил он это дело первому в посёлке браконьеру Митяю. Посадил Митяй медведя на петлю, заманив его разложившимся куском мяса, на Алёшином ручье Светлом.

Когда начальника Главка вели на медведя, он заметно трусил. «А пулю-то мне в ружьё вы настоящую положили?», – спрашивал он. Во избежание случайных недоразумений, недалеко от медведя посадили Митяя. В его задачу входило пристрелить медведя, если начальник Главка в него промахнётся.

Когда медведь, увидев людей, встал на задние лапы и заревел, у начальника Главка затряслись руки. Куда выстрелило ружьё, он не видел, но у костра, после первой рюмки, и уже в хорошем настроении, он говорил: «Главное, друзья, мои, уловить прицел». После второй рюмки начальник Главка ударился в воспоминания. «Эх, где только меня не носило! – говорил он, потирая руки. – На Урале ходил на лосей, в Приморье на диких кабанов, а в Африке, и туда меня носило, не поверите, в живых крокодилов стрелял».

Выпив ещё, начальник Главка совсем распоясался. «Вот ты... э-э, Букин, кажется, – кричал уже он, – неси ружьё, я тебе покажу, как надо стрелять!».

Букин нёс ружьё, и начальник Главка стрелял по пустым бутылкам. Стрельба по ним у него не шла, и он ругался: «Ты какое ружьё мне принёс?! Чужое?! Да я тебе за это, знаешь, что сделаю?!».

У костра вдруг появился Алёша. Его было не узнать. У него тряслись руки и дёргалось лицо.

– Это ты, гад, убил медведя?! – крикнул он начальнику Главка и наставил на него ружьё.

От неожиданности начальник Главка потерял речь, у него, как и у Алёши, затряслись руки и задёргалось лицо. Убегал он от Алёши в кусты, как заяц, длинными, не по его коротким

ногам, прыжками. А Алёша обвёл всех, кто остался у костра, мутным, как с похмелья, взглядом и тихо сказал: «Эх, вы, а ещё люди!»

Утром провожали начальника Главка. Был он мрачнее тучи. На лице его, кроме недовольства своей поездкой на прииск, ничего написано не было. Когда он садился в машину, со стороны помойки опять потянуло ветром.

– Фу, какая вонища! Вы что тут, под себя ходите? – зажал он нос, а когда сел в машину, поманил Букина пальцем. – Тебя, кажется, Букин звать? – сказал он. – Ну, так жди, Букин, приказ на увольнение.

VIII

Перед Еланью начались покосы. Бабы стожили, а мальчишки, верхом на лошадях подвозили им сено на волокушах. Мальчишкам это нравилось. За новыми копнами, с пустыми волокушами, они, обгоняя друг друга, пускали лошадей вскачь. Стожили зароды бабы. Две из них принимали наверху сено, а остальные им его подавали на длинных, как пики, вилах. Те, что были наверху, по пояс утопали в сене, и казалось, по зароду не ходят, а по нему плавают, а что были внизу, подавая навильники, широко, как это делают мужики, расставляли ноги, и, если навильник срывался с вил, не стеснялись в выражениях.

– Ну, здравствуй, красавушка, – встретила Иру одна из баб, а когда Иру заметили другие, решили отдохнуть.

Пользуясь этим, мальчишки погнали лошадей на речку. Там они, раздевшись догола, верхом на лошадях плавали, а оставив их, купались потом с весёлым смехом, играли на берегу в догоняшки.

– Тяжело, наверное? – спросила Ира баб.

– Жрать захочешь, не то сделаешь, – грубо ответила ей баба с корявым лицом. А та, что Иру назвала красавушкой, рассмеялась: «Мужиков-то, почитай, один Михайлыч остался и того, говорят, в соседний колхоз бабы производителем берут», – кивнула она в сторону старика, оставшегося на телеге с Ильичём и Янковским.

– Тьфу ты! – сплюнул старик. – Язык-то без костей, вот и мелет!

– Не-е, девки, – продолжала баба, – без нас никуда!

«Она лошадь, она бык,

Она баба и мужик», – как в трубу пропела корявая баба и с вызовом бросила Ире: «А ты, девка, засучай рукава, да и с нами. Вот и узнаешь: как это не миникюры красить».

Уезжала Ира расстроенной. «За что она на меня так? Что я ей сделала?», – думала она о корявой бабе, и уже стесняясь своих наманикюренных рук, прятала их от старика.

– Не бабы, скажу вам, а прямо стервы, – словно угадав, о чём думает Ира, сказал старик. – Другой раз так обложат, что и мужику – затыкай уши. Ну, да что с них взять, – вздохнул он. – Ведь и пашут за мужика.

К Елани подъезжали вечером. Солнце, уже близкое к закату, бросало длинные тени от стоящих у дороги тополей, с реки тянуло прохладой, загоня коров в село, хлопал бичом пастух, у одного из дворов, встречая корову, баба ласково её звала: «Маня, Манечка, иди домой», а когда корова не шла, била её палкой. У реки, на галечном берегу, сидел мужик и, раскачиваясь, как от зубной боли, пел:

– Унеси меня река

Да за крутые берега.

На голове у него была сдвинутая набекрень соломенная шляпа, рядом валялись сброшенные с ног сапоги.

– Председатель наш, – усмехнувшись, сказал старик. – Редкий день, чтоб не напился.

– Ох, уж эти русские мужики! – услышав, что сказал старик, воскликнул Янковский. – С ними только и колхозы поднимать!

– Так-то оно так, – заметил ему старик, – но и его, председателя, понять можно. Уполномоченных из города, почитай, и на неделе по два. Одному дай то, другому – ето, а всем попробуй, не залей да не выпей. Председатель, с ним, такое настроит, что и себя не признаешь. Вот и пьёт сердешный. Да и дела-то в колхозе, – вздохнул старик, – сам видел: бабы да ребятешки. Тут не захочешь, да запьёшь.

Много времени на раскрытие убийства начальника Охотнадзора Геращенко Ивану Ильичу не потребовалось. Убил его Губан. Это был один из трёх братьев Губанов, что хотели изнасиловать Иру, когда из своего села она уезжала для поступления в университет. Губан на Елань перебрался давно, в колхозе не работал, числился заготовителем кедровой смолы для какого-то городского учреждения. В лесу, рядом с трупом Геращенко, Иван Ильич обнаружил остатки разделанного лося. На окраине леса был оставлен тракторный след. Осмотрев его внимательно, Иван Ильич заметил: на левом траке не было двух башмаков.

Трактор без двух башмаков стоял в колхозном гараже. Похожий на подростка тракторист признался: за мясом лося ездил, вынесли его из леса пьяный Губан и ещё какой-то мужик, тоже пьяный, убитого Геращенко не видел. Ивану Ильичу стало ясно: убил Губан Геращенко, когда он прихватил его за разделкой лося. Пожадничав, Губан решил мясо из леса вывезти, для чего нанял тракториста. Брал Губана Иван Ильич с сельским милиционером. Выбив окно, Губан пытался бежать, но милиционер подстрелил его в ногу.

В то время, как Иван Ильич занимался расследованием убийства, Ира, чтобы узнать ближе село, решила завязать в нём знакомства. Однажды, проходя по улице, она увидела громко беседующих на крыльце двух баб. Одна из них, рыжая, в чём-то убеждала другую, не рыжую, всё спрашивала: «Правильно я говорю? Правильно?». Другая, видимо, не совсем согласная с ней, отвечала: «Ну, уж не знаю!» Это рыжую сердило. «Ну, милая! – кричала она. – Уж если я вру, то кто тогда не врёт?», и вышедшую из дома с заспанным лицом третью бабу спрашивала: «Правильно я говорю?». «Правильно, правильно», – не зная, о чём шла речь, отвечала её баба и шла за угол дома.

«Да, с этими много не наговоришь», – поняла Ира и пошла дальше. В конце села она вышла к реке.

На берегу, у костра, сидели два шорца. Они варили уху, рядом, у приткнувшейся к берегу лодке, на песке, сидел похожий на кутёнка мальчик и ничего не делал.

– Сыниска мой,
– представил его
Ире шорец и при-
гласил её к ухе.

– А вас как
звать? – спросила
Ира.

– Аман, – от-
ветил шорец, – а
её, – кивнул он на
шорку, Мотька.
Зинка мой.

– Как живё-
те-то? – спросила
Ира.

– Нисево зивём,
– ответил Аман.

– Тайга карасо:
ходи, кедровый
сыска бей, мал-ма-
ла олень стреляй,

рыбка лови. Тайга – подыхай не нада.

– А не скучно в тайге? – спросила Ира.

– Засем скусно, – рассмеялся Аман. – Тайга весело. Птиска
слусай, лес гуляй, гости туда-сюда ходи, песня пой, в скусно –
трубка кури, супруг сьупай.

А когда Ира спросила, согласились бы они жить в городе,
отмахиваясь от неё, как от мухи, аман вскричал: «Сто ты! Сто
ты! Город подыхай мозно! Одна камня, неба нет, всё вонюса,
сумит – уха затыкай!».

Уезжала из села Ира утром. Стояла хмурая погода, моросил
дождь, собирая коров в стадо, хлопал бичом пастух, а на реке в
соломенной шляпе и без сапог пел пьяный председатель:

– Унеси меня, река,
Да за крутые берега.



IX

– Не уедем! – кричали на сельском сходе. – Не на таковских напали! – И стеной шли на представителя заводоуправления.

– А вы не прите! Не прите! Не таких видел! – не отступал представитель.

Похоже, стоял он на своём уже не потому, что село и на самом деле по плану надо было сносить, а из упрямства, какое приходит к людям, когда они сердятся.

– Землю не отдадим! Она кормилица наша! – кричали в сходе.

– А мы её под бульдозер! – назло сходу отвечал представитель.

– И без речки нам никуда! – продолжали кричать на сходе.

– А мы и её запоганим! – стоял на своём представитель.

Александр Петрович, только что вернувшийся из больницы, пытался успокоить сход, но это у него не получалось. Мешал представитель заводоуправления.

– Да уходите же вы отсюда! Без вас разберёмся! – сказал ему Александр Петрович.

– Ну, это мы ещё посмотрим! – зло бросил представитель заводоуправления и куда-то скрылся.

На сходе решили послать Александра Петровича в Москву, она-то уж наверняка поможет. «А как же, – говорили, расходясь по домам, – на то она и Москва».

В Москве, на входе в министерство, Александра Петровича остановил вооружённый наганом вахтёр.

– Куда?! – строго, как это и положено вооружённым вахтёрам, спросил он Александра Петровича. Узнав, зачем приехал Александр Петрович в министерство, он сказал: «Ну, брат, таких, как ты, тут каждый день лопатой греб!».

Пробиться в министерство Александру Петровичу помог московский друг, с которым они вместе воевали. В министерстве со своим вопросом Александр Петрович скоро заблудился. В кабинетах, которых было не сосчитать, сидели солидные и очень занятые люди. Они с деловым видом перекладывали на столе бумаги, звонили в телефоны, а те, что ничего не делали,

смотрели в потолок и, казалось Александр Петровичу, решали трудные вопросы. В одном из коридоров к нему подошли два молодых человека, один из которых был худой и, как жердь, длинный, другой, похожий лицом на зайца, короткий.

– Батя, к кому? – спросил длинный.

Александр Петрович объяснил, что ему надо.

– А, так это же к Титычу! – сказал короткий.

Александра Петровича повели к Титычу. У Титыча был тяжёлый, упирающийся в стол живот, и красное, в крупную тарелку лицо. Казалось, его только что выпарили в бане и хорошо напоили пивом.

– Тэк-с, тэк-с, – сказал он, выслушав Александра Петровича, – ладненько, и с этим разберёмся.

– А трудно? – спросил его длинный.

– Да как сказать, – ответил Титыч. – Всё зависит от Гаврилыча.

– О-о, а к нему без бутылки и не ходи! – вскричали в один голос и длинный, и короткий.

Александр Петрович понял, с кем имеет дело.

– Ребята, вы жулики, – рассмеялся он. – А бутылку я вам поставлю, только помогите попасть к нужному мне человеку.

Нужный человек с живым, как у обезьяны, лицом в своём кабинете был весь в телефонах. Он бросался то к одному из них, то к другому, а когда их путал, сердито кидал не на тот телефон трубку.

– А вы кто такой? – удивился он, увидев в кабинете Александра Петровича. – Какое дело? Какая ферма? – долго не мог он понять, что от него хочет Александр Петрович, а когда понял, рассмеялся, – и вы думаете, что кто-то ради вашего села будет менять план строительства завода?

– Но в селе люди, – заметил Александр Петрович.

Нужный человек рассердился:

– Оставьте это! Стране нужен металл!

– Так ведь с голоду подохнем, если села сносить будем! – рассердился и Александр Петрович.

– Не смейте так говорить! Наше трудовое крестьянство ни-

кому не даст умереть с голоду! – услышал в ответ Александр Петрович.

На следующий день Александр Петрович поехал к своему фронтовому другу. Жил он в коммуналке, занимал с женой одну небольшую комнату с окном на стоящее вплотную кирпичное здание.

– Живём, как в яме, – пожаловался друг и включил свет в комнате.

При свете Александр Петрович увидел перед собой не того старшину батареи, которому поднять лафет пушки и одному ничего не стоило, а худого, словно вымоченного в рассоле старика с большими залысинами на голове.

Внезапно в дверь постучали и за ней раздался женский голос: «Иван Ильич, скажите своему товарищу, чтобы в следующий раз не путал звонки и звонил не ко мне, а к вам».

– Вот стерва! – выругался Иван Ильич. – Никому житья не даёт. Её не тронь, а сама всех жить учит. Вчера утром, – рассмеялся он, – отстоял я это своё в уборную, сходил, ну, понятно, кто ходит в уборную по-тихому, выхожу, а она: «Иван Ильич, вы же интеллигентный человек!»

– Ну, как живёшь, Ваня? – спросил уже за столом Александр Петрович.

– Плохо живу, – ответил Иван Ильич. – Хуже не придумаешь. Иной раз хоть башкой в петлю. – И выпив рюмку водки, Иван Ильич рассмеялся, – не поверишь, Саша, лучшими годами своей жизни считаю фронтовые. Трудно было, да, но там мы ценили жизнь, потому что смерть была рядом, а сейчас живут и умирать не собираются, и жить неохота. Как травы наелись, ни до себя, ни до кого нет дела. Друзей уже ни у кого нет, одни товарищи Ивановы да Петровы остались.

– Ваня, не пей, у тебя же сердце, – попросила Ивана Ильича жена, увидев, что он наливает себе водки.

– Что не пей?! Что не пей?! – рассердился Иван Ильич, – по-твоему, я уже и с фронтовым другом не могу выпить?

По тому, как лицо Ивана Ильича всё больше покрывалось красными пятнами, и не переставали дрожать руки, было вид-

но, что он много пьёт.

Х

В Магадане Мишу заметили. Сначала взяли инструктором горкома, а потом и обкома партии. Курировал он геологоразведочные работы. Ездил по области, доводил до сведения трудовых коллективов решения партии и правительства, в рамках обкомовских решений давал руководящие указания. Работа ему нравилась. С его приездом всё обретало рабочий вид: в конторах начинали быстрее бегать, на объектах всё пускалось на полную мощность, руководители делали вид, что только его и ждали. Когда у него заканчивалась командировка, они спрашивали: «Михаил Антоныч, а на второе?». На второе была охота с костром и шашлыками. На это Миша не клевал. «И вам не советую», – говорил он руководителям. Миша уезжал в Магадан, руководители уезжали на охоту. «А без него-то оно и лучше!», – смеялись они на охоте.

Не нравилось Мише ездить к Силину, начальнику одной из экспедиций. Силин не делал вид, что только его и ждал, а встречая, всякий раз спрашивал: «И чего это вас опять принесло?» Когда Миша начинал объяснять, зачем приехал, Силин, не дослушав его, говорил: «А мы, по-вашему, что тут, по воробьям стреляем?».

А вот с начальником экспедиции Котиковым отношения у Миши были другими. «Ах, дорогой Михаил Антоныч! – стелился перед ним Котиков, – а мы вас так ждали! Так ждали!» И хотя Миша льстецов не любил, но Котикова от себя не гнал, и даже однажды ездил с ним на охоту с костром и шашлыками. «А ты знаешь, Котиков, – говорил Миша у костра, – что ни говори, а обком есть обком. Любому последнему счетоводишку дай экспедицию, он и её потянет». Не знал Миша, что придёт время, и он поймёт: никакой счетоводишка, и даже обкомовский, экспедиции не потянет, но это будет потом, когда с жизнью он столкнётся ближе. А Котиков у костра с ним соглашался. «А то как же», – говорил он. Расставались Миша с Котиковым, делая вид, большими товарищами. «Давай, Котиков, в том же

духе», наставлял его перед отъездом Миша, а Котиков, мягко пожимая ему кончики пальцев, говорил: «Приезжайте, дорогой Михаил Антоныч, мы всегда с удовольствием». «Без мыла влезет, – думал о Котикове Миша дорогой, – ну, да зато исполнительный», а Котиков, когда Миша о нём думал, посылал ему вслед: «Подумаешь, шишка! Счетоводишка у него потянет».

После окончания партийно-хозяйственной школы Мишу назначили первым секретарём комитета партии в один из горно-промышленных районов. Вся власть в районе перешла в его руки и теперь для всех, даже для друзей, он стал не Мишей, а Михаилом Антоновичем. Теперь он ездил на предприятия не затем, чтобы доводить до сведения трудовых коллективов решения партии и правительства и давать руководящие указания в рамках обкомовских решений, для этого у него были свои инструкторы, а применительно к конкретным условиям района давать свои. Зная, что работа спорится только в руках деловых людей, пусть даже, как это было в его геологической партии, ээков, основное внимание Михаил Антонович стал уделять кадрам. Столкнувшись с делом директора прииска Букина, он разобрался, в чём дело и через обком партии добился, чтобы приказ на его увольнение отменили.

И всё бы, наверное, у Михаила Антоновича было бы хорошо, если бы в стране не началась брежневская компания за переход её из социализма в коммунизм. Разработанный в московских кабинетах «Кодекс строителя коммунизма» рекомендовался всем коммунистам в качестве настольного пособия, развернулась широкая борьба за звание ударника коммунистического труда. «Какой коммунизм?! – не понимал Михаил Антонович. – Работать надо, а строить коммунизм потом будем». Так он думал про себя, говорить же об этом, как первый секретарь райкома, он не имел права. И началась для Михаила Антоновича двойная жизнь: одна личная, «про себя», другая для народа. Дома, как все люди, он ел и пил, с женой разговаривал на понятном ей языке, перед сном читал детективы, а на народе делал вид, что он, как и положено – строитель коммунизма, и едой уже делился с бедным соседом.

Не мучился тем, чем мучился Михаил Антонович, парторг Кваша с прииска Букина. Ударники коммунистического труда у него росли, как грибы после дождя. Заглянув в их список, Букин спросил: «Не много ли?».

А увидев в списке комсомолку Дудкину, которую он не успел уволить за проституцию, спросил: «А она-то как сюда попала?».

– По рекомендации комсорга Агальцова, – ответил Кваша. – Говорит, к работе относится положительно, участвует в художественной самодеятельности, поёт революционные песни.

– Во как! – удивился Букин. – Она ещё и поёт!

Так как ни один коммунизм бесплатно не строился, и строительству его в нашей стране потребовались деньги. Обеспечить их можно было только золотой валютой, а поэтому скоро и району Михаила Антоновича увеличили план по добыче золота. «Вот так-то оно лучше! – думал он. – А то взяли себе: с голым-то задом». И когда с отчётом о проделанной работе приехал к нему Кваша, он ему сказал: «Ты мне списки-то своих ударников не суй. Стране надо золото, а не твои ударники».

Кваше это не понравилось, и он затаил на Михаила Антоновича обиду.

XI

В начале лета к Алёше на Светлый приезжала группа учёных из института биологических проблем Севера. Возглавлял её профессор с маленькой, в три прутика бородой, и ногами, похожими на две кривые палочки.

Поверить, что это профессор, Алёша долго не мог. Он представлял, что все профессора имеют солидный вид, смотрят на всех, как с колокольни, и больше сидят в кабинетах, а этот на месте усидеть не мог и минуты, всё куда-то спешил, а когда его держали, ругался. Увидев на Светлом эдельвейсы, он вскричал: «Не может быть!»

Убедившись, что это они, чуть ли не со слезами на глазах обнял Алёшу и сказал: «Дорогой мой коллега, вы сделали большое открытие: расширили ареал распространения эдельвейсов

севернее на целых двадцать градусов».

Потом профессор сильно ругал Магаданское управление охраны природы «Сидят там в кабинетах, ворон из окон считают, а заказниках – сам чёрт ногу сломает».

И схватив попавшую под ноги валёжину, потащил её на гольцы.

– Профессор, да их тут сотни, – остановил его Алёша.

– А вы куда смотрите?! – накинулся и на него профессор, а успокоившись, приказал: «Передайте чистоплюям из вашего управления: я ими очень недоволен!».

Прошло лето, весь июль был сухим, раньше времени пожелтела лиственница, обмелели реки, солнце, казалось, уже не сходит с неба, на Колыме стояли белые ночи. А в сентябре начались лесные пожары. Всё затянуло дымом, дышать стало нечем, когда огонь подходил близко, дым рассеивался, появлялось солнце, оно было похоже на большой медный шар.

Опасаясь, что пожар может перекинуться на Светлый, Алёша пошёл к Букину просить бульдозер, чтобы выпахать защитную от огня полосу.

– Какой бульдозер! Какой бульдозер! – закричал на него Букин. – У меня план горит!

Алёша и его старший сын Вася стали собираться на Светлый. Они надеялись остановить огонь ручными средствами.

– И я с вами, – сказала Агаша.

Григорий находился на Светлом, жил он там всё лето.

Сначала ничто не предвещало беды. Пожары Светлый обходили стороной, они шли в сторону Улахан-Чистая, на горных вершинах которого уже лежал снег. Днём каждый занимался своим делом. Алёша выбирал участки, где можно остановить огонь встречным палом, Агаша собирала малину и бруснику, возвратившись в зимовьё, с Григорием готовила ужин, Вася ловил рыбу и стрелял куропаток.

Вечером все собирались у костра. После ужина Алёша с Агашей пели свои песни. Песни далеко улетали в тайгу, казалось, и на другой её стороне, вот так же у костра, кто-то эти песни слушает и, как и Алёша с Агашей, находит в них много печали.

– Дедушка, расскажи про войну, – просил после песен Григория Вася.

Когда Григорий рассказывал, как партизаны в Белоруссии и Франции били фашистов, Васе казалось, что и он вместе с ними забрасывает фашистов гранатами и косит их из пулемёта. О жизни в концлагере Григорий рассказывал редко, но если это случалось, Агаша плакала, а Алёша уходил в своё немецкое прошлое.

Казалось, было оно не тридцать лет назад, а совсем недавно. Вот его сечёт прутом фермер, он убегает от него на сеновал, там полячка Анна. «О пане малтшик, – плачет она, – и затшем тебе столько горя?» Уже после войны, в одну из годовщин победы над фашистами, Алёша встретил Анну на Красной площади. «Милый Альёша, – плакала она у него и тогда на груди, – и затшем нам с тобой было столько горя?»

Пожар на Светлый пришёл внезапно. Ещё утром небо было чистым, а к обеду его затянуло дымом, с верховьев ручья потянуло гарью. Первыми от пожара бежали олени. Обезумев от страха, они не разбирали дороги. За ними бежали зайцы. Попав в кусты, они металась в них, как в клетке. Со свистом разрезая воздух, летели утки, за ним спешили вороны, попав в воздушные вихри, они металась в них, словно их били там палками.

Алёша, Агаша и Вася рассредоточились вдоль линии огня, ждали приближения его на Светлый. Григория с большим сердцем они с собой не взяли. Подгоняемый ветром огненный вал появился из соседнего распадка внезапно. Он всё сжигал на своём пути. Напоённые смолой лиственница и стланик вспыхивали, как порох, казалось, горела не только тайга и раскалённое докрасна небо. Когда к огненной стихии потянуло, как в поддувало, Алёша с Агашей, а за ними и Вася, стали бросать в сухую траву зажжённые спички. Встречный пал быстро набирал силу, а когда столкнулся с валом надвигавшегося из распадка огня, раздался взрыв, в воздух полетели раскалённые камни и куски разорванных взрывом деревьев. Когда пожар отступил и все стали забивать ветками, оставшийся от него огонь, на Алёшу упала подгоревшая у комля лиственница.

– Алёша! Алёшенька! – бросилась к нему Агаша. Алёша был без сознания, из носа шла кровь. Пришёл он в себя в зимовье, ему трудно было дышать, в груди хрипело, как в неисправном кузнечном мехе.

Пролежал Алёша в больнице два месяца.

ХII

Ознакомившись с тем, что привезла Ира с Елани, редактор Самохвалов схватился за голову: «Ты с ума сошла!».

А привезла Ира с Елани очерк о том, как надрываются в селе бабы, а убежавшие из него Проньки роют заводские котлованы. Были в нём и огрубевшая на мужской работе корявая баба, и спившийся пред-



седатель колхоза, и уполномоченные, приезжающие в колхоз залить горло, и котлован, в котором взрывают землю и стучат пневматические молота. «Неужели, – спрашивала она, – чтобы поднять село, надо сначала построить завод?».

– Очерк в печать не отдам! – категорически заявил Самохва-

лов. – За него мне в райкоме голову снимут.

– Не отдашь. Уйду из газеты! – пригрозила Ира.

Видимо, расставаться с ней Самохвалов не хотел.

– Ладно, – сказал он, – пусть решает собрание.

Первым на собрании выступил Крутик, отвечавший до Иры за сельскую тематику.

– Товарищи, – сказал он, – в то время, как зерновые хозяйства нашего района успешно поднимают хлеба, животноводческие досрочно выращивают свинину, а молочные с опережением графика выдаивают коров...

– Крутик, это мы знаем. Ближе к делу! – крикнул кто-то из задних рядов.

– А вы мне рта-то не затыкайте! – вспылил Крутик и перешёл на Иру. По его выходило, что она грубо извратила сельскую жизнь. Нет в ней ни корявых баб, ни пьяных председателей, ни уполномоченных, которые едут на село, чтобы залить горло. Крутик предложил гнать Иру из редакции в три шеи.

– Ну, мне-то рот не заткнёшь! – поднялся завхоз Иван Иванович. – И не таких видел.

Был Иван Иванович старейшим работником печати, ещё в войну сбрасывал с самолётов на головы фашистов листовки, а после войны, оставшись на газетной работе, прошёл в ней всё, что можно было с его образованием. Когда этого образования хватало, ходил и в селькорах. Да и сейчас не был в редакции последним человеком. «Без Ивана Ивановича, – говорил о нём Самохвалов, – я как без рук».

– Вот я и говорю, – продолжил Иван Иванович, – тут как посмотреть. Решетова правильно пишет: тверёзых председателей в колхозах нет, и я их никогда не видел. Бывало, приеду, а они: «Ты, Иван Иванович, без бутылки-то к нам не приезжай». И мужиков там – один на колхоз, и тот в бригадирах. И уполномоченных: попробуй, подлецу, не налей, так тебя и мама родная в его отчёте не узнает. Ага... Вот я и говорю, – повторил Иван Иванович, – Решетова правильно пишет. Да ведь правда-то – она только для дураков. Сегодня её сказал, а завтра: где взял? Ах, сам видел! Ну, так спросим и у Крутика. Крутик, ты

правду видел? Никак нет! – ответит Крутик.

– Прощу без личностей! – вскочил Крутик.

– Ну. Так вот, я и говорю, – не обратил на него внимания Иван Иванович. – Правда дураков любит. Тебя, Решетова, значит, из газеты, и Самохвалову голову снимут. Вот она вся и правда.

Неожиданно Самохвалова позвали к телефону. Вернулся он взволнованный и сообщил о том, что горит село, которое шло на снос. «Господи, да там же мама! Что с ней?!» – выбежала из редакции Ира и стала ловить в село попутку.

Был ли это умышленный поджог или пожар произошёл от неосторожного обращения с огнём, никто не знал. Случился он на окраине села, где в огородах уже рыли траншеи и прокладывали трубы. Когда Ира добралась до села, пожар подходил к школе. По селу бегали люди, казалось, они уже не тушат пожар, а ищут потерявшихся в нём родных и близких.

– Люди добрые! – кричала с распущенными волосами баба. – Вы моего Гришу не видали?!

И стучала всем в окна.

Среди бегающих по селу было много пьяных. Пили то, что успели вытащить из горящего магазина. Метались по селу и вырвавшиеся из сараев коровы. Их ловили, но они никому не давались. И ходил по селу слепой старик. Ощупывал дорогу палкой, он всех спрашивал, где запропастилась его Наська. За ним бежала девочка и кричала, что его Наська уже дома.

Пожар остановили вечером, а ночью умер Александр Петрович. Отказало ему сердце.

ХIII

В магазинах стало исчезать мясо. Ударники комтруда, отстояв свои вахты, бежали занимать в магазины очереди. Поднять животноводство, как сообщали по радио, мешала непогода. Каждый год страну заливали дожди, а когда их не было, дули суховеи. Никто в это не верил.

Не верил в это и Михаил Антоныч. И он взялся за подсобные хозяйства района. Вскоре в посёлках появились животноводче-

ские фермы, в теплицах стали выращивать огурцы и помидоры.

Руководители предприятий и парторги Михаила Антоныча понимали, не понимал его Кваша. У него по-прежнему ударники комтруда росли, как грибы после дождя, а комсомолка Дудкина, которую Букин не успел уволить за проституцию, всё ещё пела революционные песни. Однажды, когда Кваша приехал в райком со списком своих ударников, Михаил Антоныч ему сказал: «Ты мне ударников-то под нос не суй. Мне нужны не ударники, а сытые люди».

Этого Кваша уже не вынес. Так как у него была своя рука в обкоме, он написал туда жалобу. Своя рука сделала своё дело и Михаила Антоныча вызвали на бюро обкома. «Мне нужны не ударники, а золото, говорил?», – спросили в обкоме. «Говорил», – не стал скрывать это Михаил Антоныч. «А мне нужны не ударники, а сытые люди, говорил?». «Говорил», – не стал скрывать и это Михаил Антоныч. «А может, ты и в коммунизм уже не веришь?» – спросили Михаила Антоныча. «Верю, – ответил Михаил Антоныч, – но сначала надо накормить людей, а потом строить коммунизм». «Ха! – рассмеялись в обкоме. – Как это можно накормить людей без коммунизма?!». Рука Кваши была сильной и Михаила Антоныча сняли с секретарей райкома.

А на Алёшу надвигалась новая беда. На Светлом решили добывать золото, на других объектах для плана его уже не хватало.

– Не дам! – сказал Алёша Букину.

– А ты кто такой?! – рассмеялся Букин.

Алёша поехал в Магадан в управление охраны природы. «Вы обещали мне ударить по рукам всем, кто на Светлый их поднимет», – напомнил он работникам управления. «Да? – удивился принявший его чиновник и, покопавшись в инвентарной книге, согласился: «Было дело. Было». Чиновник стал кому-то звонить по телефону, и по тому, как он говорил в трубку: «Да-да, хорошо..., мы и это понимаем», Алёша понял, он ничем ему не поможет.

Профессор из института биологических проблем Севера встретил Алёшу с широкими объятиями.

– Дорогой коллега! – вскричал он. – А мы вас только и ждали! – И вскинув на Алёшу свою бородку в три прутика, спросил, – не догадываетесь, зачем? А вот, смотрите! – и показал Алёше договор о творческом сотрудничестве с ним института по работе в заказнике на Светлом. «Не-ет, – пока читал Алёша договор, – потирал руки профессор, – против науки не попрёшь, а когда она в творчестве с практикой, и подавно!».

Узнав, зачем приехал Алёша, профессор бросился к телефону.

– Академика Тёмкина! – крикнул он в трубку. – Академик Тёмкин? Александр Иванович? Александр Иванович, тут у нас такое творится!

Алёша понял, что профессор говорит с Москвой.

– Заказник, на котором растут эдельвейсы, понимаете, э-дельвейсы, сносят под золото, – кричал в трубку профессор. – Вы меня слышите? Какие эдельвейсы? Нет, не крымские, колымские!

Видимо, академик Тёмкин думал, что говорит с Крымом.

Что говорил академик профессору, Алёша не слышал, но судя по тому, как к концу разговора бородка профессора уже не прыгала, как раньше, на телефонную трубку, а лицо обрело плаксивое выражение, ничего хорошего академик ему не обещал.

XIV

Бульдозеры пошли на Светлый. Алёша их встретил с ружьём.

– Не дам! – кричал он и метил в первый бульдозер.

Кто-то побежал за Букиным. Букин приехал с милиционером.

– Не подходи! Застрелю! – кричал им Алёша.

Милиционер сделал в воздух предупредительный выстрел и направил наган на Алёшу.

– Стреляй! – крикнул Алёша и, бросив ружьё, пошёл на него. Алёшу связали и увезли со Светлого.

А ночью в посёлке загорела приисковая контора. Поджёт её сын Алёши, Вася. Прибежал он в ту ночь домой весь в бензине, глядя на горящую контору в окно, шептал: «Это им за Светлый».

– Васенька, что ты наделал! – закричала Агаша, а Вася, грозя в окно, повторял: «Я им ещё не то сделаю!»

Нетрудно было следователю узнать, кто поджёт контору. Алёша в ту ночь сидел в КПЗ, поэтому поджечь её он не мог, а Васю видели, как он бежал домой, когда она вспыхнула. Следователь уже собирался оформлять на это дело бумаги, но к нему неожиданно явился Григорий.

– Не трогайте парнишку, – сказал он, – контору поджёт я.

– Ну, дед, ты и даёшь! – не поверил следователь. – Тебе только и конторы поджигать! Ты ко мне-то, – рассмеялся он, – как, сам пришёл, или тебя на носилках принесли?

Но признание – есть признание, тем более от человека, много лет ходившего во врагах народа. Так как дело могло обрести политическую окраску, Григория повезли в Магадан. Дорогой он умер.

Похоронили Григория на Эмтегейском кладбище, рядом с Гермогеном. Людей на похоронах было немного. В посёлке его мало кто знал, жил он больше в Алёшином зимовье на Светлом. Был на похоронах Василий, сын отца Парфёна. Он уже плохо видел, ходил с палочкой, и с памятью у него было плохо. Когда ему сообщили, кого хоронят, он сказал: «А, помню, помню, у меня в охране ходил».

Был на похоронах Григория Михаил Антонович. Теперь он работал председателем крупной старательской артели, мывшей золото на Ат-Юряхе. Взять на себя организацию похорон, как это было, когда хоронил отца, Михаил Антонович не мог. Он совсем не знал тех, кто окружал Григория при жизни, да и с самим Григорием, из-за постоянной занятости своими делами, близко сойтись не успел. Не мог это сделать и Алёша. Убитый горем, он хватался то за одно дело, то за другое, но ничего до конца не доводил. Не проследил он, и как копают могилу нанятые им за водку бичи. Когда Григория привезли на кладби-

ще, могила была недокопанной, а пьяные бичи вповалку спали у костра. Их разбудили и сказали, чтобы докопали могилу, но они запросили новой водки.

Мало кто в посёлке знал, кого везут на кладбище. Если кто-то об этом и спрашивал, одна из приставших к похоронной процессии баб отвечала: «Либилитированного, милые, либилитированного».

И мальчишки, бежавшие впереди похоронной процессии, кричали: «Либилитированного везут, либилитированного!».

Успевшие хорошо выпить духачи шли за гробом, словно их только что всех побили палками. Они натыкались друг на друга, не в лад бил барабан, а когда труба брала свою высокую ноту, казалось, она надорвётся.

На кладбище, когда стали зарывать Григория в могилу, пошёл дождь, порыв ветра поднял над кладбищем прошлогодние листья, на крайней могиле, у самого леса, застучала калитка. Бичи, помогавшие закапывать могилу, попрятались в лес, остались закапывать её Алёша с Михаилом Антоновичем.

Приезжали на похороны Григория и Ксения с Ирой. Ира очень жалела, что так и не выбрала времени, чтобы приехать к отцу и узнать, как он живёт. Ксения над гробом Григория не плакала. Всё, что можно было выплакать, она выплакала за долгую, растянувшуюся почти на всю жизнь с ним, разлуку.

Литературно-художественное издание

Пензин Юрий Петрович

Из века в век

роман

Советская классическая проза

Компьютерная верстка Людмилы Танковой.

Набор текста

Фото из архива автора

Книга рассчитана на широкий круг читателей (+18).

Отпечатано в

65404, Новокузнецк, ул. Анодная, д. 14.

Сдано в печать 24.09.2025 г. Печать офсетная.

Заказ Тираж экз.